

ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



ФАВОРИТ



Валентин Саввич Пикуль
Фаворит. Книга первая.
Его императрица. Том 2
Серия «Фаворит», книга 1

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25759016

Фаворит. Книга первая. Его императрица. Том 2: Вече; Москва; 2017

ISBN 978-5-4444-8938-3

Аннотация

Роман «Фаворит» – многоплановое произведение, в котором поднят огромный пласт исторической действительности, дано широкое полотно жизни России второй половины XVIII века. Автор изображает эпоху через призму действий главного героя – светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, фаворита Екатерины II; человека сложного, во многом противоречивого, но, безусловно, талантливого и умного, решительно вторгавшегося в государственные дела и видевшего свой долг в служении России.

Содержание

Действие пятое. Канун	5
1. Лежачего не бьют	5
2. Большие маневры	14
3. На флангах истории	25
4. Непорочный лес	34
5. Великолепная карусель	42
6. В павлиньих перьях	52
7. Таланты и поклонники	64
8. Разрушение мира	76
9. Нюансы жизни	87
10. Велизарий на Волге	98
11. Граждане России	106
Занавес	114
Действие шестое. Напряжение	120
1. Завязка войны	120
2. Оспа – бич божий	130
3. «Пугу, пугу, пугу!»	139
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Валентин Пикуль
Фаворит. Книга первая.
Его императрица. Том 2

© Пикуль В.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

Действие пятое. Канун

Можно сказать, милостивый государь мой, что история нашего века будет интересна для потомства. Сколько великих перемен! Сколько странных приключений! Сей век наш есть прямое поучение царям и подданным...

Денис Фонвизин (из переписки)

1. Лежачего не бьют

Потемкин давно никого не винил. Даже не страдал. Одинокий, наблюдал он, как через щели в ставнях сочится яркий свет наступающей весны... Историк пишет: «Целые 18 месяцев окна были закрыты ставнями, он не одевался, редко с постели вставал, не принимал к себе никого. Сие уединенное прилежание при чрезвычайной памяти, коей он одарен был от природы, здоровое и не рабское подражание в познании истин и тот скорбный образ жизни, на который он себя осудил, исполнили его глубокомыслием».

Средь ночи Потемкина пробудил женский голос:

– Спишь ли? Допусти до себя...

Он запалил свечи. Сердце бурно колотилось.

– Кому надобен я? – спросил в страхе.

А из-за дверей – голос бабий, воркующий, масляный:

– Да ты хоть глянь, как хороша-то я... утешься!

Потемкин бессильно рухнул перед киотом:

– Господи, не искушай мя, раба своего...

Утром он получил записку. «Весьма жаль, – писала ему неизвестная, – что человек столь редкостных достоинств пропадает для света, для Отечества и для тех особ, кои умеют ценить его». Потемкин метался по комнатам, расшвыривал ногами стопы книг, уже прочитанных, и тех, которые еще предстояло прочесть... Историк продолжает: «Некоторая знатного происхождения молодая, прекрасная и всеми добродетелями украшенная дама (имени коей не позволяю себе объявить), ускоряя довершить над ним торжество свое, начала проезжаться мимо окошек дома, в котором он жил...» Одиноким глазом взирал Потемкин сквозь щели ставней, как в лунном сиянии, словно призрак, мечется под окнами богатая коляска.

Он стал бояться ночей. Уже не раз звали его:

– Да пусти меня к себе... открой, я утешу тебя!

Обессилев, Потемкин растворил двери, и на шею его повисла Прасковья Брюс, жарко целуя его...

Утром графиня отбыла во дворец с докладом Екатерине:

– Форты сдались, и крепость пала.

– Хвалю за храбрость! Поднимем же знамена наши...

В доме Потемкина появился Алехан Орлов, посмотрел, что на постели – войлок, подушка из кожи набита соломкой, а в ногах – худой овчинный тулупчик.

– Не слишком ли стеснил себя скудостью?

– Эдак забот меньше, – пояснил Потемкин.

Алехан поднял с полу одну из книг, раскрыл ее – это было сочинение Госта об эволюциях флотских. Бросил книгу на пол:

– Ныне я, братец, тоже флотом увлекся. – Потом сказал Потемкину, чтобы собирался в Зимний ехать. – Без тебя возвращаться не велено, таково желание матушки нашей... Шевелись, братец!

Постриг он ногти и волосы. Белая косынка, скрученная в крепкий жгут, опоясала голову, скрывая уродство глаза.

Екатерина встретила отшельника строго:

– Наконец-то я вижу вас снова... Из подпоручиков жалую в поручики гвардии! Кажется, ничего более я не должна вам.

...

Правил он в полку должность казначейскую, надзирал в швальнях за шитьем солдатских мундиров. Писал стихи. Писал и рвал их. Сочинял музыку к стихам разодранным, и она мягко растворялась в его одиночестве, никого не взволновав, никому не нужная. А в трактире Гейденрейха, где всегда были свежие газеты из Европы, случайно повстречал он Дениса Фонвизина:

– Друг милый! А где ноне Яшка Булгаков?

– Яшке повезло: его князь Николай Василич Репнин с со-

бою в Варшаву взял, он при посольстве его легационс-секретарем... Говорят, картежничает – ночи нет, чтобы в прах не продулся!

О себе же поведал, что служит при кабинет-министре Елагине для принятия прошений на высочайшее имя, а самому писать некогда. Выбрались из трактира. Ладожский лед давно прошел. Петербург задремывал в чистоте душистой ночи; на болотах города крутились винты «архимедовых улиток», вычерпывая из ям воду...

– Чего не спросишь, Денис, куда глаз подевался?

– Говорят разное: бильярдным кием вытыкнули или...

Потемкин сказал ему, что придворная служба уже мало влечет. Желательно вкусить славы военной:

– Даже окривевший, а вдруг пригожусь?..

Вечером он разрешал на доске шахматную задачу Филидора, когда слуга доложил, что какой-то незнакомый просится:

– Сказывал, бывал в приятелях ваших...

Предстал человек с лицом, страшно изуродованным оспою; кафтанишко на нем облезлый, башмаки вконец раздрызганы, а на боку – шпажонка дворянская (рубля в три, не дороже стоит).

– Или не признал меня, Гриша? – спросил он тихо.

– Ах, Васенька! Глаза да голос выдали. Вижу, что оспа до костей обглодала... Где ж тебя так прихватило?

Это был неприкаянный Василий Рубан.

– Да я сам не ведаю где... Год назад по делам таможенным в Бахчисарай ездил к резиденту нашему, в Перекопе татарском, возвращаясь, отпочевал – еще здоров. Заехал в кош Запорожский, тут меня и обметало. А сечевики усаты знай одно меня из ведер на морозе водой окачивали. Потом землянку отрыли, там гнить и оставили. Спасибо – еду и воду носили. Уж не чаял живым остаться. Одно ладно, что оспа эта проклятая хоть глаза не выжрала мне... мог бы ослепнуть!

Тяжкое чувство жалости охватило Потемкина: за этой тощей шпажонкой, за этими башмаками виделась нищета безысходная, да и сам Вася Рубан не стал притворяться счастливым:

– Дожил – хоть воровать иди. Покорми, Гриша...

Потемкин выбрал из гардероба кафтан поуже в плечах, велел башмаки драные на двор выкинуть, свои дал примерить, потом выложил перед поэтом четыре шпаги, просил взять любую.

– Бог тебе воздаст, Гриша, – прослезился Рубан. – Людей-то добрых немало на Руси, да ведь не у каждого попросишь...

В разговоре выяснилось, что Рубан переводами кормится.

– Писать уже перестали – все, кому не лень, перетолмачивать кинулись. Иногда эпитафии на могилки складываю. Приду на кладбище и жду, когда покойничка привезут. А родственникам огорченным свой талант предлагаю: мол, не

надо ли для надгробия восхваление в рифмах сочинить? Однажды на гении своем три рубля заработал. Вот послушай: «Прохожий! Не смущай покой: перед тобой лежит герой, Отечества был верный сын, слуга царям и добрый семьянин...» Мне бы самому под такую вывеской полежать!

Потемкин спросил о Василии Петрове; оказывается, тот при Академии духовной на Москве учительствует, а сейчас тоже в Петербург приехал, возле Елагина толчется, каждый взгляд его ловит.

– А что ему надобно от кабинет-министра?

– Ласки. И лазеек в масонство, благо Елагин-то шибко масонствует. В ложу его попасть – быстрее карьера сделается.

– А я был в ложах, – сознался Потемкин, как о стыдном грехе. – Плуты оне. Я бы всю эту масонию кнутами разогнал...

...

Встретились и с Петровым; наняли ялик, лодочник отвез их на Стрелку, где пристань. А там базар с кораблей иноземных: матросы попугаями и маргышками торгуют, тут же, прямо на берегу, ставлены для публики столики, можешь попросить с любого корабля – устриц, вина, омаров, фруктов редкостных... Старый нищий, хохоча, пальцем на них указывал:

– Впервой вижу такую троицу: один кривой, другой шер-

батый, а третий корявый... Охти мне, потеха какая!

Потемкин приосанился:

– Кривые, щербатые да корявые, до чего ж мы красивые!

Вася Петров по-прежнему был пригож, только передних зубов не хватало. Стали они пить мускат, заедая устрицами, а пустые створки раковин кидали в Неву. Потемкин спросил Петрова:

– Клыки-то свои где потерял?

– А как на Руси иначе? Вестимо, выбили.

– Важно ведь знать – кто выбил и за что?

– Барыня на Москве... утюгом! Ревнуча была.

От вина, еды и музыки Рубан оживился:

– Даже не верю, что снова среди вас... Четыре года в степях провел. Смотрю я сейчас вокруг себя: корабли стоят, дворцы строятся, флаги выются, смех людской слышу. Где же я, боженька, куда попал?

– Так ты домой вернулся, – ответил Потемкин.

Был он среди друзей самый неотесанный. Рубан владел древнегреческим, латынью, французским, немецким, татарским и турецким. Петров знал новогреческий, латынь, еврейский, французский, немецкий, итальянский. Еще молодые ребята, никто их палкой не бил, а когда они успели постичь все это – бес их ведает!

– А ныне желаю в Англии побывать, – сказал Петров.

– Зачем тебе, скуфейкин сын?

– Чую сердцем – плывет по Темзе судьба моя...

Петров глядел на Потемкина заискивающе, словно ища протекцию, но камер-юнкер сказал приятелю, чтобы тот сам не плошал:

– Елагина не тревожь – он кучу добра насулит, а даст щепотку. На его же глазах Дениса Фонвизина шпыняют, он не заступится...

– Так быть-то мне как, чтобы навверх выбиться?

– Вот ты чего хочешь! Тогда слушай. Вскоре в Петербурге великолепная «карусель» состоится. Натяни струны на лире одической да воспой славу лауреатам ристалищным.

Петров хотел руку его поцеловать, но получил по лбу:

– Не прихлебствуй со мною... постыдись!

...

Когда переплыли Неву обратно, у двора Литейного повстречался молодой солдат вида неказистого, с глазами опухшими.

– Господа гулящие, – сказал неуверенно, – вижу, что вам хорошо живется, так ссудите меня пяточком или гривенничком.

– Да ну его! – сказал Петров. – Пошли, пошли, – тянул он друзей дальше, – таких-то много, что на водку просят.

Потемкин задержался, спрашивая солдата, ради какой нужды ему пяточок надобен, и тот ответил, что на бумагу:

– Хочу стишок записать, дабы не забылся.

– Да врет он все, – горячился Петров.

– Гляди, рожа-то какая опухлая, задарма похмелиться хочет. До стихов ли такому?

Солдат назвался Гаврилой Державиным.

– Постой, постой... – припомнил Потемкин. – В гвардии Конной побаски зазорные распевали. Слышал я, что придумал их солдат Гаврила Державин из преображенцев... Не ты ли это?

Выяснилось – он, и Потемкин рубля не пожалел:

– Хорошо, брат, у тебя получается... поэт ты!

Петров и Рубан всячески избрали Державина.

– Побаски мерзкие учинил солдатским бабам в утеху... Какой же поэт? Эдак-то и любой мужик частушки складывать может.

– Верно, Васенька! А мы с тобой еще воспарим, в одах себя прославим на веки вечные... Ишь ты, – не унимался Петров, – бумажки ему захотелось! На што рубль такому давать?

– Лежачего не бьют, – прекратил их споры Потемкин.

2. Большие маневры

Лето 1765 года выдалось сырым и холодным, с моря налетали шквалы, текли дожди. Екатерина все же выехала в Царское Село, где ее навестил камер-юнкер Потемкин – с бумагами от Григория Орлова.

Она спросила, что о ней говорят в столице.

– Говорят, вы много пишете, – отвечал Потемкин.

– Да, это моя слабость... чисто женская, и тут я ничего не могу исправить. О том, сколько я написала, узнают после моей смерти и будут удивлены: когда я находила время для махания? – Помолчав, она добавила: – Григорий Григорьевич поступил правильно, купив библиотеку Ломоносова. Теперь я задумала идти по стопам друга – и куплю у Дени Дидро его библиотеку.

– Достоинство вашего величества, – сказал Потемкин. – Вольтер был прав, нарекши вас «Семирамидой Севера»...

Вольтер, конечно же, намекал на ассирийскую Шаммурамат (Семирамиду), которая правила при малолетнем сыне, как и Екатерина при Павле. О том, что Шаммурамат глубоко порочна, Екатерина знала, но не стала расшифровывать уязвления Вольтера, принимая на себя лишь похвалы его.

– Как хороши иллюзии! – сказала она. – Побольше бы нам, женщинам, таких иллюзий. Проводите меня до парка...

В парке Потемкин тащил за нею складной стульчик и зон-

тик. Дунул ветер, посыпал маленький дождик, и камер-юнкер раскрыл зонтик над головою императрицы.

– Благодарю, – отозвалась она, поворачивая к гроту на берегу озера. – Укроемся от этого несносного дождя...

Стоя подле нее в укрытии грота, Потемкин заметил синяки, безобразившие руки женщины, – она застенчиво прятала их под шалью, а он думал: «Неужели она способна прощать... даже это?» Перехватив его взгляд, Екатерина строго сказала:

– Не будьте так внимательны ко мне, поручик...

Это был ее женский секрет: Семирамиду Севера иногда под пьяную руку крепко поколачивал фаворит Гришенька. Императрица сказала, что скоро в Красном Селе начнутся большие маневры, но Потемкина она не включила в состав своей свиты, и он в злости сорвал тряпичный жгут со своего лба:

– Я для вас стал уже противен?

Екатерина медленно подняла взор к его лицу. Один глаз Потемкина чуть косил, а другой был мертвенно-желтый, прищуренный, с жалобно текущей слезой... Она сказала:

– Дождь кончается. Не будем стоять здесь. И очень прошу вас не говорить, что бумаги Ломоносова на моем столе...

Эта женщина, осыпанная самой грубой лестью лучших умов Европы и избиваемая пьяным любовником, уже начала работать над своим «Наказом»! Ее мучила модная в то время легисломания – жажда силою закона сделать людей счастли-

ВЫМИ...

Потемкин нес над нею раскрытый зонтик.

Какая там Шаммурагат? Просто баба. Да еще чужая...

...

Дефензива – оборона, офензива – наступление.

– Ух, и дадим же звону! – сказала Екатерина («дать звону» – это было ее любимейшее выражение). Коляска императрицы катила в Красное Село, грачи на пашне жадно поедали червей. – Вот, – показала на них царица, – наглядная картина того, что сильный всегда пожирает слабого, а вечный мир – выдумка Руссо и его голодающей братии. Смотрите, как эти птицы хватают жалких слепых червей... А по мне, так и любя драка! Но если уж драться, так лучше самой бить, нежели другими быть битой...

Показались домики Красного Села, чистые родники звенели в траве у подножия Дудергофских гор, а на склонах их плескались разноцветными шелками шатры персидского Надир-шаха. Екатерина при въезде в лагерь увидела сына: Павел салютовал матери игрушечным палашом, возле него пыжился генерал-аншеф Петр Иванович Панин – разгневанный и страстный милитарист, желавший все в России переделать на казарменный лад, большой поклонник прусских ранжиров. Екатерина сказала камер-фрау Шаргородской:

– Это мой персональный враг. Ишь как надулся...

Здесь, в лесах под Красным Селом, русская армия впервые начала маневрировать, побеждая мнимого врага. Князь Александр Михайлович Голицын¹, прославленный в битвах с Фридрихом II, дал войскам указание:

– До смерти никого не поражать! Помните, что противник суть от сути часть воинства непобедимого. Засеянных крестьянских полей кавалерии не топтать. А помятых в атаках и буде кто ранен неумышленно, таковых отсылать на бумажную фабрику Козенса...

Дипломатический корпус встретил Екатерину возле шатров, в прохладной тени которых разместилась ставка.

– Командующий здесь я! – возвестила императрица...

Она переделалась в мундир Преображенского полковника, натянула скользкие лосины из оленьей замши, Никита Панин сообщил ей:

– Из Вены от князя Дмитрия Голицына² получена депеша, начал болеть муж Марии-Терезии, император германский Франц, истощивший себя амурами с нежнейшей графиней Ауэрспейг.

– Туда ему и дорога, – грубо отвечала Екатерина.

– Да не туда, – поправил ее Никита Иванович, – потому

¹ Полководца князя Александра Михайловича Голицына (1718–1783) нельзя путать с вице-канцлером князем Александром Михайловичем Голицыным (1723–1807).

² При Екатерине были два дипломата князя Голицына с именем Дмитрий: Дмитрий Михайлович (1721–1793), посол в Вене, и Дмитрий Алексеевич (1734–1803), посол в Версале и Гааге.

как, ежели муж умрет, Тереза венская станет сына Иосифа поднимать, а этот молодой хлюст въедлив в политику, аки клоп в перину.

– Клопов кипятком шпарят, – сказала Екатерина.

К своим «коллегам», монархам Европы, эта женщина не испытывала никакого почтения. А вокруг пестро цвела лагерная жизнь: казаки жарили на кострах мясо, дым валил от полковых пекарен, конница разом выпивала целые пруды, оставляя биться в тине жирных карасей и карпов, которых тут же, весело гомоня, хватали за жабры солдаты. Суздальский пехотный полк, пришагавший из Старой Ладogi, заступил на охрану ставки. Командовал им маленький сухощавый офицер, чем-то напоминавший полевого кузнечика.

– Я вас уже встречала, – сказала императрица.

Это был Суворов – еще не великий! Он ответил:

– Три года назад, осенью, был допущен к руке вашего величества, а солдат моих изволили трактовать рублями серебряными.

– Помню. Жаловались на вас... монахи. Зачем вы ихний монастырь штурмовали, всех до смерти в обители перепужав?

Суворов без робости отвечал, что не оказалось под рукой вражеской цитадели, дабы штурмовать примерно, вот и пришлось посылать солдат карабкаться на стены монастырские:

– Ученье – не мученье! Лишь бы с толком.

– Из Кригс-коллегии тоже на вас жалуются, будто вы сол-

дат полка Суздальского изнуряете маршами чересчур скорыми.

– Ваше величество, читайте Цезаря! – сказал Суворов, мелко крестясь. – Римляне еще скорее нашего походы совершали...

Ближе к ночи, когда догорали бивуачные огни, Екатерина легко взметнула свое тело в седло. Суворов был человеком от двора далеким, потому именно его она и выбрала в попутчики:

– За мной, полковник... галопом, ну!

В ночной темени их несли кони – стремя к стремени, шпора к шпоре. В изложине ручья крутилась водяная мельница бумажной фабрики; здесь они спешили. Их встретил англичанин Ричард Козенс с фонарем... Екатерина привязала Бриллианта к изгороди.

– Лишних никого нету? – спросила она фабриканта. Суворову же сделала доверительный знак рукою, чтобы следовал за нею.

Козенс в конторе демонстрировал образцы бумаги, прочной и тонкой. Екатерина жгла листы над пламенем свечи, комкала их и распрямляла, писала и написанное тут же соскабливала. Ассигнации пробовали печатать еще при Елизавете, но никак не давалась заготовка «нарочитой» бумаги. Екатерина и сейчас была недовольна.

– Ричард Ричардович, советую опыты продолжать. Необходимо добиваться лучшего качества. Уж вы постарайтесь, дру-

жок мой...

Утром она сама провела рекогносцировку «противника». Под нею был накрыт вальтрапом Бриллиант, три года назад вынесший ее к престолу! Впереди марширующих задвигались пушки. В конвое скакали двести гусар – сербов, грузин и казаков. В великолепных уборах кавалергардов пронеслись Алехан и Гришка Орловы, над их касками мотались высокие плюмажи из перьев страуса. Притворно враждовали дивизии – одна князя Александра Голицына, другая Петра Панина. Императрица – на рысях – сама отвела панинскую дивизию за болотистую речонку Пудость.

– Здесь и дадим вам звону! – посулила она.

Но «враг персональный», свершив ретираду за деревню Тайцы, открыл массированный огонь, заряжая пушки незрелыми яблоками, которых было великое множество в садах красносельских.

Голицын настегнул коня под хохочущей царицей.

– Здесь не шутят! – крикнул он ей. – Коли попадет в глаз анисовкой, так никакая примочка не спасет. Грузинцев и сербов, аллюром скорым... арш! – скомандовал он в атаке.

Битва завершилась грандиозным пиршеством, и Екатерина была весела (не так, как на галере «Три святителя», но все же подозрительно хохотлива). Тосты во славу русского оружия слагались под завывание боевых труб, при литавренном бое. Граф Захар Чернышев, по чину президента Военной коллегии, подсел к Екатерине, нашептывая на Суворова,

дабы наказать молодчика за кощунственный штурм святой обители. Екатерина послала его к чертям:

– Суворова попусту не дергайте. Он мне нравится тем, что на других не похож. От таких оригиналов большая польза бывает!

После маневров Красное Село покидали и дипломаты.

– Куда спешит эта дама? – сказал австрийский посол Лобковиц. – Глядя на нее, можно подумать, что завтра начнется война. Смотрите, все русские верфи загружены работой, Алексей Орлов получает от нее секретные суммы... ради чего?

– Боюсь, это связано с флотом, – сказал швед.

– А что она пишет? – спросил испанский посол.

– Мемуары, – ответил французский посол маркиз де Боссе, и его слова вызвали дружный смех дипломатов.

– Плохой ваш смех, господа! – строго заметил прусский посол граф Сольмс. – Русские на Урале понастроили такие вавилонские домны, о каких в Европе понятия не имеют. На древесном угле они дают чугуна столько, что для самых грандиозных коксовых домен в Англии русские выплавки металла остаются лишь недостижимой мечтой...

...

Ближе к осени настали жаркие денечки, и двор перебрался в прохладу фонтанов Петергофа. Играя с вице-канцлером

Голицыным в биллиард, императрица забила шар в лузу, сказав весело:

– Михалыч, у тебя дуплет, гляди! Была пора, когда философия возводилась на костры, а теперь она освоила престол русский... Промазал ты, князь! Я тебе глубоко сочувствую.

Крепким ударом загоняя второй шар в лузу, она велела запросить посла в Париже об имущественном положении Дидро. Вскоре кабинет-министр Елагин точно доложил Екатерине:

– У философа жена и дочь, роскошей не водится, но много денег уходит на обретение книг и эстампов редкостных. Дидро живет скромно, зато у него большой расход карманных денег на фиакры, ибо, часто колеся по Парижу и его окрестностям, он вынужден поддерживать обширные знакомства.

– Запросите, есть ли у него любовница...

Посольский курьер примчался с ответом: «Г-жа Волань таковою считается, и немало он издерживает ей на подарки».

– Вот и хорошо, что Дидро не евнух, – сказала Екатерина. – А эта мадам Волань небось одной философией сыта не бывает, и от лишних франков не отвернется... Перфильич, – наказала она Елагину, – покупая библиотеку Дидро, я все книги оставляю ему в пожизненное пользование, а сам Дидро пусть числится моим библиотекарем, за что буду платить ему пенсию по тыще франков ежегодно... Вот так и депешируй в Париж!

Настала теплая, благодатная осень, шумные ливни бара-

банили по крышам загородного дворца, когда Потемкин, заступив на дежурство, предстал вечером перед императрицей. Готовясь ко сну, она надела батистовый чепчик, за ее спиною живописно раскинулся барельеф «Вакхические пляски», где пьяные волосатые Силены преследовали тонконогих грудастых нимф...

– Деша из Вены, от князя Дмитрия Голицына.

– Читай, поручик, секретов нету.

Потемкин прочел, что германский император Франц скончался, а горе Марии-Терезии не выразить никакими словами.

– Что ж, помянем кесаря блинами с маслом и сметаной, – лукаво отвечала Екатерина. – Но императрицу венскую мне искренно жаль: она любила мужа... даже все простила ему... все-все!

В дверях комнат Потемкин столкнулся с верзилой Пиктэ; женеваец принес новое послание от Вольтера. «Вы самая блестящая Звезда Севера, – писал мудрец, – Андромеда, Персей и Каллиста не стоят вас. Все эти звезды оставили бы Дидро умирать с голоду. Он был гоним в своем отечестве, а вы взыскали его своими милостями... Мы втроем, – закричал Вольтер, – Дидро, д'Аламбер и я, мы воздвигаем вам алтари: вы делаете из нас язычников!»

– Пиктэ, – сказала Екатерина, – вам предстоит поездка на Волгу, в степи напротив Саратова... Не обессудьте! Старые способы размножения людей уже не годятся – я придумала

НОВЕНЬКІЕ.

3. На флангах истории

Скорописью она строчила в Адмиралтейств-коллегию: «Что флотская служба знатна и хороша, то всем на Руси известно. Но, насупротив того, она столь же трудна и опасна, почему более монаршую нашу милость и попечение заслуживает...» Брякнул у двери колокольчик, было объявлено:

– Генерал-майор флота Голенищев-Кутузов-Средний!

– Проси. – И повернулась от стола лицом к входящему: – Иван Логгинович, годовой бюджет для дел флотских определила я в миллион двести тыщ рубликов. Сумма хороша, но из бюджета вылезать не дам. Знаю, что корабли не в один день строятся и не скоро люди к морям привыкают. Но все же будем поторапливаться...

Голенищев-Кутузов доложил, какие корабли по весне спустят на воду, какие закладываются. Долгая сушка леса задерживала создание флота. Сушеного леса для столичных верфей не хватало.

– Однако, ваше величество, большие запасы леса сухого есть еще в Адмиралтействе казанском и под Мамадышем на складах.

– Вывозите оттуда! Экономия хороша, – добавила Екатерина, – но мелочное скарредство загубит любое здоровое дело. Потому не бойтесь поощрять радивых, выводите людей в чины, дабы горячность у всех возникала. А пока флот строите,

я адмиралов затрясу насмерть за то, что плавать, сукины дети, совсем разучились. Стыдно сказать: флот русский к берегам прилип, будто старая бабка к забору в день ветренный. Пора уже нам в океаны выходить...

Флот, флот, флот – нужен, насыщен, необходим!

От офицеров флота требовали ныне не только знания дела морского, но и нравов добрых, трезвого жития. Теперь во время корабельных трапез, пока офицеры кушали, им вслух читали сочинения – исторические, географические. Дворян стали завлекать службою на верфях: «корабельные мастера ранги имеют маеорские, производятся в сюрвайеры и в обер-сюрвайеры, из коих последний чин уже есть бригадирский». На новых кораблях усиливали крепление бимсов, палубы стелили из дуба, чтобы они выдерживали пальбу утяжеленных пушечных калибров...

Прошка Курносов воткнул топор в бревно и, завидев начальника Адмиралтейства, забежал перед ним, проворно скинув шапчонку:

– Ваше превосходительство, не оставьте в милости своей. Дозвольте, как обещали, в Англию на верфи Глазго отъехать.

– Сначала тебя, байстрюка, в Мамадыш татарский загоню...

...

Иностранные дипломаты пристально шпионили за рома-

ном императрицы с Орловым, гадая между собою – какой катастрофой он завершится? Людовик XV исправно читал депеши из Петербурга:

«Орлову недостает только звания императора... Его непринужденность в обращении с императрицей поражает всех, он поставил себя выше правил всякого этикета, позволяя по отношению к своей повелительнице такие чудовищные вольности, которых не могла бы допустить ни одна уважающая себя женщина...»

Екатерина всегда перлюстрировала посольскую почту, и это письмо прочла раньше французского короля. Если прочла она, значит, прочел и Никита Панин, давно страдающий от неудовлетворенного желания – видеть Орловых подальше от двора.

– Может, изъять из почты? – предложил он.

– Что это изменит? Отсылайте. Пусть все читают...

Панин осторожненько дал понять Екатерине, что пора бы уж властью монаршей избавиться себя от засилия орловского клана.

– Вы не знаете этих людей, как знаю их я! – И этой фразой Екатерина открыто признала свой страх перед братьями.

Все эти годы, кривя душою, она выдумывала Григория Орлова таким, каким он никогда не был и не мог быть. Императрица старалась доказать всем (в первую очередь – Европе), что ее фаворит – не любовник, а главнейший помощник в государственных делах. Иностранным послам она рас-

сказывала сущую ерунду:

– Поверьте, что граф Орлов – мой усердный Блэкстон, помогающий мне разматывать клубки запутанных ниток...

А мадам Жоффрен она даже уверяла, что при чтении Монтескье фаворит делал столь тонкие замечания, что все только ахали, диву даваясь. Между тем Гришка по-прежнему любил кулачные драки, вольтижировку в манежах, фехтованье на шпагах, поднятие непомерных тяжестей и забавы с дешевыми грациями.

Недавно он заявился весь избитый, в крови.

– Кто тебя так? – перепугалась Екатерина.

– Да опять капитана Шванвича встретил. Выпили на радостях, поцеловались, как водится, а потом... – Гришка вытер ладонью окровавленные губы. – Надо же так – всю соску разбил!

Екатерина сказала, что в одном городе со Шванвичем ему не ужиться, она сошлет его подальше – за леса дремучие.

– Хороший он человек, матушка, таких беречь надобно. Эвон, в Кронштадте комендант требуется – Шванвича и назначь: матросы-то буяны, он их по дюжине на каждую руку себе наматает...

Вызов иностранцев в Россию для освоения заволжских пустошей Екатерина поручила Орлову, и фаворит неожиданно загорелся этим делом. Раскатывая перед государыней карты, говорил:

– Гляди сама! От Саратова колонии дале потянутся, об-

разуя кордоны надежные для охраны городов от набегов орды киргизкайсацкой. Хорошо бы, мыслю, поселения эти сомкнуть в степях с Новой Сербией – тогда эту стенку не прошибешь! Ты мне, матушка, где-нибудь в степи памятник должна поставить...

Конечно, нелегко покидать уютную Голландию или обжитую Швейцарию, но несчастные и обездоленные европейцы все же отрывали себя от земли пращуров. Регенсбург стал местом их сбора: сюда стекались толпы немцев, швейцарцев, чехов, ельзасцев, богемцев и гессенцев. Их отправляли на кораблях. Распевая псалмы, пешком шагали на Русь «моравские братья», гернгутеры и менониты.

Никто не ожидал столь мощного притока людей.

– Не совладать, хоть рогатки ставь! – докладывал Орлов. – Не только стариков, но даже умирающих на себе тащат...

Екатерина трезвой головой понимала: 8 шиллингов в сутки на каждого колониста – приманка сладкая. Она нюхнула табачку:

– Не гнать же их обратно! Что ж, старики и больные вымрут скоро. Любой город всегда с кладбища начинается. А для детей малых Россия станет уже отечеством...

По Волге, распустив паруса, струги спускались к Саратову; здесь их встречал, как своих земляков, гигант Пиктэ.

– Вы обретете новое счастье! – вещал он. – Россия дарит вам такие права, какие сами же русские были бы счастливы иметь для себя, но таких прав они иметь не могут. Я доста-

точно пожил в России – здесь трудно жить, но дышится легче, чем в Европе...

Глубокой осенью Орлов сообщил, что первые колонисты уже вышли на калмыцкую речку Сарефа. Там, в духоте высоченных трав, возникали новые поселения – Берн, Клоран, Унтервальден, Люцерн. Моравские братья (чехи) калмыцкую Сарефу переименовали в библейскую Сарепту; старый проводник воткнул в землю палку:

– Помните, как пророк Илия дошел до Сарепты и сказал сарептянке: «Вода в водоносе не оскудеет, сосуд елса не умалится». Вот тут, где воткнул я палку, быть фонтану на площади...

Начинали от первой могилы в степи, от первого крика новорожденного. Но строились сразу прочно – в камне, и скоро на площадях поселений взметнулись струи артезианских фонтанов... Европа хватилась поздно! Тысячи работающих рук ушли из нее в Россию, газеты наполнились бранью по адресу Екатерины и ее фаворита. Между тем Россия руками переселенцев осваивала жирную целину, получая виноград, пшеницу, коноплю, горчицу, арбузы, дыни, а сами колонии становились как бы пограничными кордонами...

Европа еще поворчала и затихла.

Временная тишина.

...

Богатства Орловых были уже баснословны, а недавно Екатерина одарила фаворита мызой Гатчиной с окрестными селами Кипенью, Лигово и Ропшею. Славный зодчий Антонио Ринальди сразу же начал возводить в Гатчине угрюмый охотничий замок, волшебным сном стремительно выраставший среди озер, лесов и угодий. Здесь фаворит проделывал опыты по освобождению крепостных от рабства, желая рабов превратить в полурабов – арендаторов его земель... Скоро он стал поговаривать, что Гатчину вообще подарит Руссо:

– Деньгами он, плакса, не берет, так, может, на природу нашу польстится? А мне ведь не жалко... Пущай сидит на бережку с удочкой да от комаров шляпой отмахивается.

Екатерина терпеть не могла Руссо, но сама водила пером фаворита, соблазняя Гатчиной, «где воздух здоровый, вода чудесная, пригорки, окружающие озера, образуют уголки приятные для прогулок, располагающие к мечтательности». Кажется, императрица вознамерилась сделать из Руссо помещика, русского крепостника, чтобы затем подчинить его своей самодержавной воле. А вскоре из Лейпцига возвратился младший брат Орловых – граф Владимир, образованный человек, у которого кулаки для трактирных драк уже не чесались. Екатерина долго беседовала с ним о нравах студенческих, спрашивала, каково обучают в Лейпциге.

– Бестолково! Нигде я не слышал столько казуистических глупостей. Но среди педантов немало и людей высокомыслящих...

На столе императрицы лежали списки пажей, в науках успевающих. Она собиралась отправить их в Лейпциг. А на место гетмана Разумовского президентом Академии сделала Владимира Орлова.

– Ране думали, что весь шум и треск в науке от буйства Ломоносова происходит. Ныне же Ломоносова не стало, и все притихло, как в могиле, а в тишине всегда воровать легче.

Орлов выразил недоумение.

– Не удивляйтесь, – продолжала Екатерина. – Если недавно из моей личной упряжки продали скакуна за десять рублей (хотя я за него уплатила четыреста), то науку обокрасть легче, нежели конюшню. Я по описи академической не раз книги нужные спрашивала – нету, говорят. Куда делись? Стащили даже проект канала, соединяющего Москву с Петербургом. Карты походов к Америке, сделанные Берингом и Чириковым, найти какой год не могут. А я такого мнения, что лорды британские давно их скупили тайно, теперь Англия по нашим же картам в наши моря с пушками полезет. Как видите, граф, я призываю вас занять пост в карауле при арсенале мысли российской...

Голенищев-Кутузов-Средний застал императрицу перед зеркалами, она явно красовалась, набросив на плечи пушистые меха с удивительным подшерстком, отливающим серебром.

– Что за зверь такой? – подивился моряк.

– Никто не знает! Вчера из Сибири прислали с курьером, чтобы я лично указала стоимость. А тамошни оценщики цены этим мехам не ведают... Поздравь меня: Россия новые земли обрела, мореходы наши Алеутские острова обживают – вот откуда меха эти. Теперь, чаю, скоро и Америку освоим.

– Нелегко добираться туда, матушка.

Екатерина была женщиной практичной:

– Легко... Офицер флотский, до Камчатки доехав, получит от меня чин следующий. И еще один чин, когда Америки достигнет. Коли обратно живой возвратится, я его опять в чине повышу. Скажи, какой офицер от такого карьера откажется? А ты сам знаешь: я не мелочна! Это у «Ирода» прусского полвека до седых волос тужатся и все в фендриках, как мальчишки, бегают.

Она спросила: что с лесом из Мамадыша и Казани?

– По первопутку обозы тронутся, – обещал Голенищев.

Прошке Курносову он велел кафтан справить.

– И волосы обкорнай покороче, паричок заведи недлинный, чтобы буклями парижскими за русские елки-палки не цепляться.

Впервые в жизни Прошка получил прогонные деньги, на станциях ямских являл подорожную – как барин! Кони бежали легко...

4. Непорочный лес

Ах, Казань, Казань! Золотая твоя голова...

Разом грянули колокола соборные, с минаретов завывали муэдзины татарские – пора и день начинать. Вот уж не думал Прошка, что загостится в доме лейтенанта Мамаева, который Казанским адмиралтейством ведал. Курносов мамадышский лес в Петербург уже отправил, теперь корабельную древесину надо из Казани забрать. Хотя Мамаев был здесь вроде дяди Хрисанфа в Соломбале, но в Казани все иное – дворянское. Казачок платье чистил, умываться давал, у стола Прошке лакей прислуживал. В обширной горнице стенки украшали темные, как иконы, парсуны давние – с них взирали на юное поколение предки мамаевские. Висел и список пергаментный: на нем изображен был павший за смертью рыцарь, из живота которого вырастал дуб с ветвями, а в золотых яблоках были имена потомков его начертаны. Хозяин настырно в комель дуба указывал:

– Вишь, вишь! От самого Мамая приходим.

– Так Мамая-то мы на поле Куликовом чесали.

– И что с того? Мы и московским царям служили. А ныне я в ранге-то лейтенантском – попробуй-ка, дослужись...

Ели дворяне сытно, рыбу да медвежатину, на столе икра гурьевская, на десерт – желе лимонное с вином «розен-бэ». Соловьи заливались в соседних комнатах, а кот был на диво

умен. Мамаев хвастал, что казанские коты самые разумные на Руси, по указу Елизаветы котов для нее только из Казани ко двору поставляли.

Данила Петрович Мамаев встал и повелел:

– Умри, Базиль!

Кот мигом соскочил с лавки, брякнулся о пол, члены свои вытянул, хвост трубкой на сторону откинул и глаза блудливые в притворстве зажмурил.

– О-о, не делай всех нас несчастными! – возопил тут Мамаев, руки заламывая, и кот живо воспрял, за что и был вознагражден осетринкою.

– Да, ума у него палата, – согласился Прошка. – Но вот у нас в Соломбале коты эти самые прямо чудеса вытворяют. Своими глазами видел, как один рыжий верхом на собачке Двину форсировал, дела котовские в городе сделал, всем кошкам знакомым визиты учинил, откланялся и обратно на собачке домой приплыл...

Хорошо жилось в Казани! Но особенно радовало Прошку сияние глаз девичьих, которые уже не раз замирали на нем. Анюточка Мамаева была пятнадцати лет – уже невеста, и, когда Прошка похвалил сияние ее глаз, девушка сказала, что глаза у нее не папины:

– А от мамочки, коя из породы дворян Рославлевых.

– А я имею честь из поморов Курносовых быть!

– Вы, сударь, фамилию свою вполне ликом оправдываете.

– Что делать? Курносые тоже сердце имеют...

Прошка и намеки всякие пробовал уже делать:

– Вы кого-нибудь любите ли, сударыня?

– Маменьку.

– А еще кого?

– Папеньку.

За такую осмотрительность Прошка ее похвалил:

– Но я вас, сударыня, об иной любви спрашиваю.

– Ах, сколь вы привязчивы, сударь! Да у меня ведь родня-то изобильная: и тетушки, и дядюшки – мне есть кого любить.

– А вот, скажем, если бы муж у вас появился...

– И не стыдно вам такое мне говорить!

– Любили бы вы его, сударыня?

– Ежели родители прикажут – конечно же.

– Очень мне трудно, сударыня, беседу с вами вести...

На этом Прошка разговор о любви пока закончил.

Адмиралтейство же на реке Казанке стояло, место звалось Бежболда (по-татарски «семь топоров» означает). Матросы казанские из татар были набраны, на Волге они воевали с разбойниками, да и сами от разбойников мало чем отличались. Прохор Акимович начал браковать деревья, выговаривая со знанием дела, благо дело тиммерманское с детства ему привычное:

– Сучок крапивный – к бесу, откатывай! Табак с рожком – негоден. Ух, свиль-то какой, будто сама ведьма скручивала... Косослая много у вас. Метик, отлуп – сколько ж браку вы за-

пасли! На што лес-то губили? Нет у вас в Казани порядку...

Все штабеля раскидал, отобрав лесины только хорошие: их сразу клеймили с комля тавром адмиралтейским. И не знал парень, что, бракуя деревья, наживает врага себе лютого.

– Вот ведь как бывает! – упрекал его Мамаев. – Ты с человеком со всей душою, последнее готов ему отдать, лучшего куска не жаль, а он... Зачем же ты, сынок, обижать меня хочешь?

Прошка и не думал обижать отродье Мамаево.

– Данила Петрович, – отвечал он, – гнили-то разной и на питерских верфях хватает. На что мне лишнюю из Казани таскать? Я ведь не для себя – для флота нашего стараюсь.

– Вижу я, какой ты старательный! Нет того, чтобы уважить хозяина, который приютил, обогрел, поит да кормит...

Ложась спать, Прошка обнаружил под подушкой кисет с десятью рублями. Едва утра дождался – вернул хозяину:

– Уж не потерял ли кто? Возьмите.

– Я ведь от добра, – сказал Мамаев. – Ты человек незнатный, едва из лаптя вылез, щей валенком нахлебался, так зачем мзду мою отвергаешь с таким видом, будто я враг тебе?

Тиммерман понял, чего домогается душа Мамаева: ему бы только тавро на лесе проставить! Но совесть свою парень не запятнал:

– Денег от вас не возьму. Есть у меня деньги, нет у меня денег – я лучше не стану. Детишки по лавкам еще не плачут, жена конфет не требует, с чего бы я волноваться стал?

– Эх, дурак ты, дурак! – окрысился Мамаев...

На беду парня, Анюта дозволила ему поцеловать себя. И так им целование понравилось, что, не раздумывая, оба в ноги отцу повалились, прося благословения. Мамаев сказал:

– Это кстати! Сейчас благословлю вас...

Взял лейтенант дочку за косу, намотал ее на руку и поволок в чулан, где и запер. А жениха шпагой на двор выгнал.

– Эй, служивые! – крикнул. – Давайте бою ему...

Матросы казанские набежали в столь изрядном количестве, в каком Прошка их даже на верфи не видывал. Стали они метелить сироту поморскую с такой небывалой поспешностью, что не успевал отмахиваться. А лейтенант, хозяин очень гостеприимный, вокруг бегал, девизы злодейские возглашая:

– Бей хлопа! Жарь семя навозное... Мы-то от самого Мамаева корень ведем, а он откель взялся такой? Бей...

Избили и разбежались. Мамаев в доме закрылся. Прошка поднял с земли камень, шарах – по окнам.

– Эй ты... адмирал из лужи! – крикнул он. – Меня уж так били, как тебе, дураку, и не снилось. Но помни: еще все локти изгрызешь себе, будешь в ногах у меня валяться...

Всадил для верности еще два камня по окнам и ушел. Жаль, конечно, Анютку! Уж больно глаза красивые...

...

Прошка Курносов доставил на верфи столицы восемь обозов с чудесным сухим корабельным лесом.

– Без порока! – доложил он в Адмиралтействе.

Лес проверили: тавро было пробито исключительно на добротных лесах – ни сучка, ни гнили, ни косослоя. Иван Логгинович прилежание в людях уважал, даже поцеловал парня:

– Говорил же я тебе: ты хорош – и мы хороши будем...

При докладе императрице Голенищев-Кутузов-Средний рассказал о рвении, проявленном тиммерманом П. А. Курносовым, на это Екатерина отвечала, что добрые поступки надобно поощрять:

– В таких делах, кои интереса казенного касаются, полушками отдариваться нельзя. Мелочность в наградах – порок вредный.

Она отпустила из «кабинетных» сумм 100 рублей для тиммермана – с публикацией! Имя Прохора Курносова появилось в официальных прибавлениях «С.-Петербургских ведомостей», а Иван Логгинович велел парню собираться в Англию:

– Ты, миленький, на джины с пуншами не набрасывайся там, а мы тебя ждать будем. Да высмотри секреты корпусного строения, чтобы корабли наши королевским не уступали...

Перед отплытием, скучая без знакомцев, Прошка навестил дом Рубановских, куда однажды относил книгу аббата Госта.

Двери ему отворила красавица Настя.

– Никак уже в господу вышли? – оглядела она парня.

– Да все топором... в люди вымахиваюсь.

– Хорош жених, – засмеялась она.

– Не в вашу честь, сударыня.

– Или я плоха? – обиделась красавица.

Прошка обид прежних не забывал:

– А помните, как в прошлый-то раз, когда вам сказали, что я плотник, так вы... Ну-ка вспомните, что вы ответили?

– А что я ответила?

– Вы тогда сказали: «Фу!»

– Фу, – повторила девка и ушла на кухню...

В горнице сидели пажы – Ушаков с Радищевым.

– Э, опять плотник, – узнали они его.

Капрала Федора Ушакова в гостях не было: на пинке «Нарген», уже в чинах мичманских, уплыл он далеко – до Архангельска. Прошка поведал пажам, что на флоте большие перемены: приучают народ бывать подолгу в практических плаваниях; ради экономии парусов и такелажа в гаванях не томятся – флоту место в морях, где команды привыкают к непогодам и положениям аварийным. В конце Прошка сказал, что ему тоже пора.

Уплыл он! На одни только сутки зашли во французский порт Кале, чтобы грузы оставить, пассажиров забрать. Там подкатила к борту богатейшая карета: слуги долго таскали багаж, нарядно одетый юноша поднялся на палубу.

Был он хорош. Даже очень. Глянул на Прошку:

– Слушай, курносый, не земляк ли ты мне?

Это был граф Андрей Разумовский, сын бывшего гетмана.

Плыл он в Англию ради волонтерства на королевском флоте.

Прошку по-доброму пригласил для ужина в каюту свою:

– Садись, хлопче. Без русской речи соскучился...

Были они почти одногодки. Прошка сказал:

– Вам-то зачем в беду морскую соваться? Англичан я немножко понюхал: у них на флоте что не так – за шею и на рею. Дадут они вашему сиятельству полизать росы с канатов якорных.

Разумовский весело расхохотался:

– Забавно ты лясы точишь, но я ведь вроде вояжира вольного буду плавать. Меня беготней по вантам они изнурять не станут. Уж если меня и повесят, так только в России...

Лакеи приводили каюту в порядок. Андрей Разумовский своими руками установил перед собой овальный портрет отрока. Прошка сказал:

– Курносый он, как и я... А кто такой?

– Мой милый друг – цесаревич Павел!

Павел, еще мальчик, имел чин генерал-адмирала российского, и потому служение на морях было для Разумовского придворною необходимостью. Стало покачивать. Вещи заерзали. Сын гетмана побледнел, но Прошка его утешил:

– Наш пакетбот шустрый – скоро и Англия...

5. Великолепная карусель

Зная о прошлой связи Бецкого с матерью, Екатерина всегда относилась к Ивану Ивановичу с осторожностью, она его не жаловала, писала с иронией: «Хрыч старый, вместо того, чтоб Петергоф мой чинить, чорт знает чево из моих денег понаделал!» Бецкой на вечерних приемах угрем крутился за спинкою ее кресла, но Екатерина, игрок отчаянный, ни разу не сказала ему: «Садись, Иван Ваныч... метнем!» Сегодня Бецкой явился со словами:

– Матушка великая государыня, я готов.

– А я всегда готова, – поднялась Екатерина.

В колясочке подъехали к сараю, внутри которого застыл конный монумент Петра I, созданный когда-то Карлом Растрелли по заказу покойной Елизаветы. Памятник отлили, а денег для установки его не нашлось. Екатерина (уточкой, чуть вразвалочку) обошла монумент по кругу, критикуя его нещадно:

– Таких, как этот, уже немало понаставлено в Европе всяким курфюрстам и герцогам... Почему он так спокоен на своем грубом першероне? Характер-то у Петра был горяч! Ему бы рваться на бешеном скакуне, вздыбленном над пропастью.

– Матушка, да где ты в Питере пропасть сыщешь?

– Надо будет, так и скалы появятся...

С неудовольствием разглядела римские сандалии царя, лавровый веночек на его пасмурном челе и довершила критику:

– К чему сандалии и латы центуриона? Для Петра это столь же нелепо, как для Юлия Цезаря наши русские лапти и онучи... Истукан хорош, но для нас негоден. Нет уж! Буду писать в Париж самому Дидро, чтобы приискал монументалиста славного... Пусть все заново мастерят.

В колясочке Бецкой заговорил, что один-то раз денежки на монумент ухнули, а второй монумент еще дороже станется:

– Парижские мастера – сквалыги: нагишом нас оставят.

– Это уж моя забота, – ответила Екатерина.

Во дворце ее ожидал Елагин, доложивший, что покупка библиотеки Дидро завершена, деньги за нее ученому уже высланы:

– А теперь позвольте и пенсию ему переслать?

Екатерина сказала:

– У запорожцев есть хорошая поговорка: не лезь поперед батьки в пекло. Да, я обещала Дидро пенсию, и пусть Европа шумит об этом на всех перекрестках, а я... могла же я забыть о пенсии!

После Елагина вбежала запыхавшаяся Парашка Брюс:

– Като! Я больше не могу так... Подумай, твой Григорий уже какой раз хватает меня за все места, тащит и кусает в губы.

– Послушай, дорогая, – твердо ответила Екатерина, – о тебе слава давнишняя, как о дешевеньком кольце, которое каждый может на свой палец надеть. Почему меня никто не хватает, не кусает и никуда не тащит?

– Ах, Като! Сравнила ты себя со мною...

...

С тех пор как турниры кровавые, на которых рыцари убивали друг друга, из обихода Европы повывелись, вместо них возникли праздничные торжества – карусели... Главным судьей был назначен фельдмаршал Миних; в канун карусели Екатерина указала полицмейстеру Чичерину:

– Смотреть на забавы народу не возбраняется. Но которые в лаптях или заплаты на одеждах имеют, таковых близко к амфитеатру не пущать, без побоев подальше отпихивая.

Чичерин загодя вооружил полицию дубинами:

– Побоев простолюду не учинять, но треснуть палкою можно. Олимпийское спокойствие суть благочиния нашего!

Еще с утра улицы заполнили толпы, народ принарядился, пьяных нигде не было, хотя кабаки не закрывались. Зрители по билетам получали доступ в амфитеатр, где главной богиней восседала сама Екатерина – между Минихом и Паниным... Кадрили тронулись! Горячие кони пронесли римские колесницы, которыми правили бесстрашные женщины. Их прозрачные туники развевались, но красавицы не стыди-

лись наготы своей, как не стыдился ее и мир античный. Костюмы кавалеров были скопированы с народных, и перед петербуржцами разлился пестрый карнавал древних римлян и албанцев, героев греческих мифов и арабов, сербов и турок, валахов и молдаван... Раздалась музыка, но – странная! Это были мотивы Древней Эллады и Древнего Рима, музыка стадионов античного мира, в котором выше всего ценилась гармония человеческого тела. Во главе римской кадрили выступал Гришка Орлов, а турецкую возглавлял Алехан... Могучие телосложением, на могучих буцефалах, они, спору нет, были величественно-прекрасны!

На площадь перед Зимним дворцом выбежали в туниках и сандалиях загорелые юноши – далеко метали тяжкие жавелоты-молоты.

Стройные амазонки, обнажив правые груди, на полном разбеге коней пронзали копьями цветочные гирлянды.

Рядами, тесня друг друга, в коротких плащах, блестя квадратными щитами, рубились на мечах гладиаторы – кадеты.

Перчатки дам красочным дождем опадали на арену ристалища, и рыцари разбирали их в паузах между схватками.

– А почему вы не бросите? – спросил Панин царицу.

Она отвечала ему сжатым ртом:

– У меня мужа нет, и перчатками сорить не стану я, бедная... Кстати, вы убрали из Бахчисарая этого растяпу Никифорова?

– Нет еще. Забыл.

– Надобно убрать. Если посла российского татары публично избили, он уже не посол, а чучело гороховое...

Нужная беседа прервалась: пришло время встать и раскланяться перед лауреатами, которых Миних награждал прейсами (призами). Победителей, мужчин и женщин, одаривали пуговицами из бриллиантов, тростями с золотыми рукоятями, блокнотами в финифти, табакерками с алмазами, готовальнями в яшмовых футлярах.

Потемкин участвовал в рыцарском поединке на пиках и мечах, но был повержен из седла наземь. Спасибо верному пажу: волоком быстро оттащил его с ристального поля, помог разоблачиться от неудобной брони.

– Не повезло, – сказал Потемкин, затоптанный копытами.

Он спросил оруженосца, как зовут его.

– Радищев я... Александр.

– Говорят, скоро вас, пажей, в Лейпциг отправят?

– Да. Чтобы постигли мы законы праведные...

С высоты трибун прилетела к нему одинокая перчатка.

– Я не заслужил! – И он отдал ее пажу.

...

Облегченный от панциря, Потемкин провел Петрова и Рубана в ложу для персон значительных. Обратясь к фавориту императрицы, спросил:

– Граф Григорий, два менестреля сложили оды в честь карусели нынешней. Дозволь пред ея величеством их произнести?

За своего брата грубо отвечал Алехан:

– Вон тому, корявому, что слева от тебя, читать не надобно! Наша государыня все стерпит, но оспы она не жалует. А второй, хотя и щербатый дурак, но пушай уж читает... бес с ним!

Рубан чуть не заплакал от обиды, а Петров, низко кланяясь, предстал перед императрицей; с высоты амфитеатра слышалось:

Я странный внемлю рев музыки!
То дух мой нежит и бодрит;
Я разных зрю народов лики,
То взор мой тешит и дивит...
И зависть, став вдали, чудится,
Что наш, столь весел, век катится.

– Плохое начало, – сморщился Рубан. – У меня лучше...

Убором дорогим покрыты,
Дают мах кони грив на ветр
Бразды их пеною облиты,
Встает прах вихрем из-под бедр...

– Трелиаковский эдак же писал, – сказал Потемкин, под-

толкнув Рубана. – Ну, что грустишь, брат? Щербатый-то в люди уже выскочил. Остались мы с тобою – кривой да корявый. Пойдем по этому случаю в трактир Гейденрейха и съедим полведра мороженого...

Петров заканчивал свою оду восхвалением Орловых:

Так быстры воины Петровы
Скакали в Марсовых полях,
Такие в них сердца орловы,
Такой чела и рук был взмах...

Григорий Орлов прильнул к Алехану, что-то нашептывая. – Жаль, что я того корявого отставил, а теперь возись тут с красавцем писанным, – сказал Алехан. – Ежели што-то замечу, так я этому Орфею с Плющихи завтра же все руки-ноги переломаю!

Екатерина плохо поняла оду Петрова, но зато оценила молодецкую статью, юный румянец, густые дуги бровей и розовые губы поэта. Рука женщины оказалась возле его лица – для поцелуя:

– Сыщите Ивана Перфильевича Елагина, скажите, что я велела вас после карусели в «кабинетце» провесть.

– Ну вот... начинается, – покривились Орловы.

В «кабинетце» размещалась библиотека царицы, и она, как радушная хозяйка, рассказывала поэту, что отдает книги переплетать в красный сафьян с золотом, иные же велит в шелк оборачивать. Заранее смеясь, Екатерина показала ему

томик Рабле:

– До чего же хорош! Когда настроение дурное, я его грубости прочитываю охотно и веселюсь небывалой сочности слога...

Петров никак не ожидал, что он, из-под скуфейки выползший, попадет в «кабинетec» самой императрицы. Бедняга ведь не знал, что не ему одному честь такая: Екатерина любого свежего человека протаскивала через эту угловую комнату дворца, дабы, непринужденно беседуя, выявить глубину знаний, узнать о вкусах и пристрастиях... Женщине нравилось в Петрове все – внешность, склонность к языкам иностранным, живость в движениях. Она спустилась с поэтом в дворцовый садик, гуляла там, рассказывая:

– Библиотекарем у меня грек Константинов, зять Ломоносова, ленивейший человек в деле проворном... Я возьму вас к себе на его место, обещаю в году тыщу двести рублей.

Мечта о собственной карете загрохотала колесами, уже совсем близкая, раззолоченная и зеркальная. Екатерина, наклонясь, взяла с куста гусеницу, и она колечком свернулась на ее ладони.

– Неужели умерла? – огорчилась императрица.

– Что вы! Можно сразу оживить.

– Каким же образом?

– А вот так, ваше императорское величество...

С этими словами Васька плюнул в ладонь императрицы. Червяк и правда ожил, шевелясь. Но зато сразу умерли жен-

ские чувства Екатерины к невоспитанному красавцу. Она вытерла руку о подол платья и велела Петрову ступить к Орловым.

– Передайте, что вашею одой я вполне довольна. Скажите, что вы уже в моем штате – переводчиком и библиотекарем.

От себя она наградила его золотой шпагой. Алехан же дал поэту шкатулку, в которой гремели 200 червонцев, и Петров сразу припал к его руке, целуя... Алехан при этом сказал:

– Ты у нас теленок ласковый, всех маток пересосешь...

...

Дипломаты явно переоценили появление Петрова.

Близ императрицы новый красивый мужчина? Не значит ли это, что возле престола могут возникнуть некоторые перемены?

– Нет, – отвечал им Панин. – Соседство Петрова доставляет императрице волнения не более, чем вид красивой мебели. Государыне понадобился «карманный» одописец, который не полезет на стенку, как это делал Сумароков, если она станет редактировать его стихи под общий хохот подвыпивших картежников в Эрмитаже...

В один из осенних дней Потемкин проезжал по набережной, когда от Зимнего дворца готовилась отъехать новая лакированная карета, в которую садился Василий Петров, исполненный довольства. Был он горд, напыщен, при золотой

шпаге у пояса.

– Гляди на меня! Когда маменька умерла, я из дому только половичок унес, на нем хуже собаки спал, в калачик свертываясь. Голодал, мерз, страдал, а теперь... Теперь ты слушай:

Любимец я судеб! – опомнясь, я сказал, –
Во свете рифмослов так счастлив не бывал.
Я современных честь. Я зависть для потомства.
Что может выше быть с богинями знакомства?
Являясь, Муза смысл мне толчет во главу.
Екатерина деньги шлет и дарит наяву.

Потемкин не был завистлив, но сейчас поморщился:

– Пусть Муза втолчет в башку тебе, чтобы, в карете развлясь, не забывал ты тех, которые с Охты пешочком бегают...

На Охте, на хлебничая у мачехи Печериной, бедствовал Василий Рубан – к нему и ехал Потемкин с корзиной вина и закусок.

6. В павлиньих перьях

Граф Александр Сергеевич Строганов, человек настолько богатый, что при дворе чувствовал себя полностью независимым, однажды за картами в Эрмитаже завел речь: нет ничего сложнее в мире, утверждал он, чем установить правоту человека.

– Вчера на Охте огородница мужа топором зарубила. Вроде бы и преступна она. Но посуды, Като: муж поленом ее дубасил, пьяный, с детьми на мороз гнал, какое тут сердце выдержит? Нет, не преступление совершила женщина, зарубив изверга, – напротив, Като, великое благодеяние для общества оказала она!

Екатерина напряженно смотрела в свои карты:

– Ты, Саня, справедливость не путай с правосудием, ибо справедливость очень часто борется с юридическим правом. Закон всегда лишь сумма наибольших строгостей, в то время как справедливость, стоящая выше любого закона, часто отклоняется от исполнения законности, когда в дело вступает призыв совести.

Строганов быстро проиграл ей партию в робер.

– Одного не пойму, Като, кого ты сейчас цитировала? Ну, будь мила, сознайся – Блэкстона? Монтескье? Или... Ваньку Каина?

Екатерина раскрыла кошелек, черным испанским веером,

на конце которого сверкала жемчужина, загребла себе выигрыш.

– Саня, ты же знаешь, что я страшная воровка...

Но воровать так, как воровала Екатерина, тоже не каждый умеет. Бумаги Ломоносова оказались на ее столе – подле трудов Беккариа, Монтескье, Юма, Дидро; здесь же покоились толстенные томики Энциклопедии. Абсолютизм прост, как проста любая деспотия. Зато просвещенный абсолютизм сложен. К этому времени сама русская жизнь, достижения ее мысли и западной философии уже дали столь сырого материала, что Екатерина просто задыхалась от его избытка... Тайком от всех она сочиняла «Наказ» для составления Нового уложения законов. «Два года я читала и писала, не говоря о том полтора года ни слова, последуя единственному уму и сердцу своему с ревностнейшим желанием пользы, чести и счастья империи, и чтоб довести до высшей степени благополучия всякого...» А все, что она вычитала, обдумала и перестрадала, – все чувства женщины, все побуждения монархини она щедро бросила на алтарь всеобщего обсуждения ради единой цели: сохранить и упрочить самодержавие!³

«Правда воли монаршей», написанная кнутом и клещами палача, должна была теперь преобразоваться в «Наказ» императрицы, дабы определить абсолютизм уже не кровью, а

³ «Мы не поймем просвещенного абсолютизма Екатерины II, если не учтем социальной обстановки, грозившей устоям самодержавно-крепостного строя. Екатерина была достаточно умна и идейно подготовлена, чтобы почувствовать и оценить грядущую опасность» (Абсолютизм в России. М., 1964).

едино просвещением писанный. Петр I указы об «общем» завершал четкой угрозой – распять, четвертовать, языки отрезать, члены повывергивать. Елизавета, дочь его, от батюшкиного «общего блага» (изложенного выше) перешла к «матерному попечению» о благе подданных и только с кнутом не могла расстаться! Сложная эволюция «Правды воли монаршей» завершилась сейчас в кабинете Екатерины, воплощенная в ее «Наказе», где на новый лад было писано: преступление следует «отвращать более милосердием, нежели кровопролитием», а «слова никогда в преступление не вменяются».

Безжалостно обкрадывая мыслителей века, Екатерина тщательно отбирала лишь нужное для нее самой, для условий русской жизни, и статьи «Наказа» ее не были безделицей! Ангальтское прошлое давно угасло в женщине, в памяти не осталось ничего, кроме штопанных чулок, стаканов с пивом и шлагбаумов среди тюльпанов. Маленькую принцессу Фике ужасали колоссальные раздолья России, но теперь императрица Екатерина II даже пространства русские превратила в беспощадный аргумент для защиты самодержавной власти. Она писала в «Наказе», что Россия страна обширная, а потому иной власти иметь не может... Статьи выстраивались в порядке:

§ 11. Всякое иное правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно.

§ 12. Другая причина та, что лучше повиноваться законом

под одним господином, нежели угождать многим.

§ 13. Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действия их направить к получению самого большого ото всех добра...

Графу Строганову она призналась дружески:

– Высеки меня, Саня, яко покорную рабу легисломании: единою лишь силою образованного самодержавия осчастливилю подданных через опубликование законов разумных.

Строганов был образован лучше Екатерины.

– У меня, – отвечал он ей, – вообще нет наивной веры в могущество закона, в который так безмятежно верят нынешние философы. Самый праведный из них наверху, достигнув низов, обязательно извращается, становясь вредным для тех, на пользу которых он обращен... Ты неисправимая фокусница, Като!

– Так высеки, высеки меня, – хохотала женщина.

Строганов был слишком занят женой, изменявшей ему с Никитой Паниным, он был всецело поглощен собиранием картинной галереи; есть законы, нет законов – граф великолепно мог обойтись и без них. Не так отнесся к «Наказу» Никита Иванович Панин.

– То, что вы сделали, это... ужасно! – сказал он императрице. – *Ce sont des axiomes à renverser des murailles*⁴.

⁴ Это аксиомы, которыми можно обрушить стены (фр.).

Ругая императрицу, он ругал, конечно, не столько ее, сколько тех авторов, которых она нещадно обворовала. Григорий Орлов, не всегда понимая желания Екатерины, посоветовал ей:

– Ты бы, Катенька, кому-нибудь еще показала. Я тебе в таких делах советчик дурной. А ты сгоряча нагородишь тут всякого, потом сама же не рада будешь.

Но другие вельможи обрушились на Екатерину даже с яростью, и она покорно вымарывала статьи, редактируя себя без жалости (конфликтовать с крепостниками не хотела!). Никита Иванович Панин сознательно подчеркнул в «Наказе» фразу императрицы: «Не народ существует для меня, но я существую для народа».

– Вы неосмотрительны, – заметил он сухо. – Не уповайте на большинство – большинство голосов не дает верной истины.

– Большинство, – согласилась Екатерина, – и неспособно породить истину. Большинство не истину, а лишь желание большинства показывает. «Наказ» мой – это совет России, как жить ей...

Панину сам бог судья. Иное дело – философы, которые не станут возражать против плагиата. Пропагандируя в «Наказе» их же идеи, Екатерина наступала на больные мозоли деспотов и тиранов, далеких от понимания просвещенного абсолютизма. Но был еще один человек в Европе, которого трудно обмануть, – это прусский король Фридрих II, знав-

ший философию века намного лучше Екатерины. Пересылая в Сан-Суси немецкий перевод своего «Наказа», Екатерина сразу зажала королю рот суровой самокритикой: «Ваше величество не найдет тут ничего нового, для себя неизвестного; вы увидите сами, что я поступила, как ворона в басне, сделавшая себе платье из павлиньих перьев...»

Екатерину навестил князь Вяземский, уныло сообщив, что Салтычиха зловредная ни в чем не созналась. Уже доказано следствием, что уши она отрывала раскаленными щипцами, на голову одной девки крутой кипяток из чайника поливала, а под спальню любовника своего, майора Тютчева, когда он вздумал на Панютиной жениться, она бочку с порохом подкатила, чтобы взорвать обоих в ночь новобрачную. Все обвинения Салтыковой строились лишь на показаниях крестьян, а дворяне (даже соседи Салтычихи) помалкивали.

– Один Тютчев признал всю правду о мучительствах.

Екатерина спросила – сколько лет душегубице?

– Она вашего величества на один годок моложе.

– Осталось последнее средство к сознанию: отвезть в застенки и на преступниках показать ей все виды лютейших пыток.

– Это бесполезно, – отвечал Вяземский. – Салтычиха сама людей пытала и стонать не устрашится. Надо ее пытать!

– Так откройте перед ней все врата ада, – наказала она.

Генерал-прокурор собрал со стола бумаги.

– И открою! – сказал он. – Есть у меня человек один

неприметный, Степаном Шешковским зовется, он еще при графе Шувалове в дикастерии тайной усердствовал... Уж такого знатока анатомии, каков Степан мой, еще сыскать надо! Он, бывало, легонько пальцем ткнет в человека, так тот криком от боли исходится.

– А скромн ли твой Гиппократ застеночный?

– Мухи не обидит. Бога каждую минуточку поминает. По три просфорки на дню съедает. Молчалив и опечален...

Она спустилась в парк, возле подола бежала тонконогая левретка. Вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын, сопровождая царицу в прогулке, заметил, что Екатерина утомлена.

– Да, князь, устала... Я сейчас в положении кухарки, у которой на плите сразу несколько кастрюлек и не знаешь, за какую хвататься. Спешу варить немало блюд разом.

Вслед за ними шагал Елагин, который сказал, что пообещать Дидро пенсию и не давать ее – это нехорошо, даже очень нехорошо. Екатерина резко обернулась к своему паладину:

– Перфильич, ты помолчи, будь другом.

– А мне-то что, – бубнил Елагин, ковыляя следом. – Не я же пенсию сулил человеку – не от меня он и ждет ее...

Вице-канцлер сказал Екатерине, что посол Дмитрий Алексеевич Голицын уже имел беседу с Дидро относительно скульптора:

– Конечно, нельзя не доверять вкусу Дидро, который об-

рел в Европе славу лучшего знатока искусств, но выбор, сделанный Дидро для России, меня настораживает.

– Кого же он предлагает?

– Этьенна Мориса Фальконе.

– Странно! Я даже не слышала о таком мастере...

На аллее, ведущей ко дворцу, показалась шестерка испанских лошадей, которые, игриво пританцовывая, везли карету графа Строганова, и Екатерина издали помахала приятелю рукой:

– Саня, знаешь ли ты Фальконе?

– Понаслышке. – Строганов вытащил из кареты корзину с клубникой. – Говорят, маркиза Помпадур была охотницей до его психей и амуров. Обнаженные женские фигуры Фальконе таят в себе массу скромной чувственности. Но знаменитый Пигаль терпеть не может Фальконе. – Граф протянул императрице самую крупную ягодину. – Это тебе, Като! Всю дорогу мучился, глядя на нее, как бы самому не съесть... ешь скорее, пока не отняли!

Екатерина повернулась к вице-канцлеру:

– Тогда я ничего не понимаю. Надобно, чтобы посол запросил Дидро, чем оправдывает он свой выбор. Я очень плохой знаток искусств, но даже я чувствую, что от статуэток женского тела невозможно перейти к созданию монумента величественного.

Корзину с клубникой поставили на траву, все стали есть ягоды, но Елагин держался поодаль, и Строганов окликнул

его:

– Перфильич, а ты чего букой стоишь?

Лакомясь клубникой, Екатерина рассмеялась:

– Елагин разводится со мною, яко с непорядочной женщиной. Я на весь мир растрезвонила, что обещала Дидро пенсию...

– И не даете ее! – подал издали голос Елагин.

– Я еще не все вам сказал, – доложил Голицын, – Фальконе уже пятьдесят лет, но у него юная ученица, она же его и натурщица. Эта девка ни за что не хочет покидать Париж, а без нее Фальконе с места не стронется.

– О боже! – отвечала Екатерина. – Тронь любого француза, и за ним обязательно волочится юбка. Но если посол Голицын может переспорить Шуазеля, то как-нибудь уговорит и эту девчонку...

Стал накрапывать дождик. Екатерина позвала собаку:

– Том, домой... быстро. А ты, Иван Перфильич, в наказание за упрямство свое, бери и тащи во дворец корзину с ягодами.

...

Екатерине было неприятно узнать, что пытки Салтычиху не испугали – эта зверюга ни в чем не покаялась.

– К смерти ее уготовливать? – спросил Вяземский.

– Ничего иного она и не заслуживает...

Екатерина велела тайком представить ей Степана Шешковского, при этом выразила генерал-прокурору свое кредо: «Доносчики нетерпимы, но доносы полезны». В маленьких свинячьих глазках Шешковского, припорошенных белыми ресничками, светился ум бывалого человека. Начал службу мальчиком одиннадцати лет, копиистом в Сибирском приказе, сызмала наблюдая, как людишек секут и порют, коптят и жарят. Но, в возраст придя, остался сир и беден:

– Характер у меня робостный. Не умею, как другие, вперед вылезать. Оттого и не обзавелся деревеньками с мужичками, у жены хрящики с косточками ноют, а у дщерицы мясо побаливает.

Екатерина обещала ему деревеньки с садочками:

– Но и далее указываю в тени жить. Тайно содеянное и судимо должно быть тайно. Болтунов разных доверяю отечески вразумлять, а чем – и сам ведаешь! Не страшись гнева вельможного: помни, что едино мне подчинен, а я тебя, Степан Иваныч, в обиду не дам.

– Добрая хозяйюшка пса своего разве обидит?

– Не обижу, Степан Иваныч! Ступай с богом. Да в церковь мою загляни. Я велела для тебя царские просфорки оставить.

Прошло несколько дней, и в покои императрицы опророметью влетела графиня Прасковья Брюс:

– Като! Погоди, дай отдышаться... уф!! Слушай, какие завелись у нас ужасы. Еду я по Невскому и даже не заметила,

как на облучке кареты сменили кучера. Остановились. Открываю дверцу – какой-то двор. Никогда там не была. Заводят в комнату. Под иконами – старичок, жует просфорку. Любезно усаживает меня в кресло напротив себя, и кресло подо мной погружается... в бездну.

– Да что ты? – Екатерина всплеснула руками.

– Поверь, ничего не выдумываю. Я брыкнулась, но моя голова уже оказалась вровень с полом, а все туловище... не знаю где! Чувствую, как чьи-то руки, очень грубые, но опытные, задирают на мне юбки, спуская с меня панталоны... Като, ты понимаешь весь мой ужас? Я сначала решила, что попала в вертеп искусных распутников, и ожидала насилия. Но вместо этого меня стали сечь, а кто сечет – не видать. Святоша же с просфоркой в зубах, как собака с костью, присел возле меня, несчастненькой, и вдруг заявляет: «Ах ты задрыга такая, будешь еще к графу Григорию Орлову подлаживаться?» Като, подумай, что я выстрадала: сверху крестят, снизу секут... Уж лучше бы меня изнасиловали!

Подруга заплакала. Екатерина пожалала плечами:

– Интересно, кто бы эту комедию придумал?

...Люди в Петербурге сделались в разговорах сдержаннее. А те, что уже прошли через «контору» Шешковского, вообще помалкивали. Да и кому приятно рассказывать, как тебя секли? Пора, читатель, представить героев, которые, располагаясь этажом ниже Шешковского, производили главную работу. Это были искусные кнутобойцы Василий Могучий и

Петр Глазов; императрица повелела отпускать им жалованье гарнизонных солдат и, кроме того, на платье и хлеб выдавать каждый год по 9 рублей и 95 копеек. Жить можно!

7. Таланты и поклонники

Владимир Орлов рассказывал, что проездом через Берлин имел счастье повидать Леонарда Эйлера; король Фридрих навел в прусской науке столь суровую экономию, что ученые не то чтобы научную работу вести – прокормиться не могут. Екатерина распорядилась переслать Эйлеру четыре тысячи флоринов:

– Но пусть убегает к нам от тиранства прусского.

– Эйлер о том и хлопочет. Он признает, что нигде ему так хорошо не работалось, как в России. Но семья у него – как табор цыганский! Жена досталась будто крольчиха какая...

Эйлер просил для себя ежегодно 3000 рублей.

– Денег нет таких, какие он просит. Но я, чтобы «Ироду» досадить, из своего кармана доплачивать согласна...

Фридрих, получив «Наказ» русской императрицы, критиковать его не стал. Но зато жестоко оплевал Леонарда Эйлера, забравшего из Берлина свои архивы: «Он поехал в Петербург, чтобы снова лизать русский снег. Я счастлив, что своим отбытием он избавил меня от чтения громадных фолиантов, наполненных цифрами, и пусть корабль, нагруженный иксами и игреками, перевернется кверху килем, чтобы Европа уже навсегда избавилась от обилия интегральных исчислений...». Сразу же с корабля Леонард Эйлер был пересажен в карету, которая примчала его в Петергоф.

Екатерина встретила ученого на зеленой лужайке.

– Как ваши драгоценные глаза? – спросила она. – Берегите их, они нужны для моей Академии, мой флот и артиллерия усиливаются, а без ваших вычислений ни стрелять, ни плавать нельзя.

Она спросила – чего больше всего он боится в России?

– Я покинул эту страну, убоюсь количества омерзительных пыток, какие были здесь во времена Анны Иоанновны.

– Россия от пыток избавлена навеки!

– И еще я боюсь... русских пожаров.

– Между нами говоря, я их тоже побаиваюсь. Единственное, чем я могу вас утешить: случись пожар, сама прибегу с ведрами.

Она подарила ему дом на Васильевском острове.

...

Денис Фонвизин уселся в шарабан, велел ехать. Отпуск кончился – прощай, Москва-матушка! Когда с Кузнецкого моста завернули на Лубянку, кучер показал ему дом Салтычихи:

– Во каки палаты у кровопивицы нашей! Сколь народу сгубила, а на нее, стерву, раз управа найдется?..

Денис отворил сундучок дорожный, извлек из него рукопись комедии «Бригадир» и стал читать, поглядывая в окошко, а там – поля и пожати, перелески и костры в безлюдье

пастушьем. О Русь, Русь! Великая, многострадальная, обожаемая. Шарабан трясло на ухабах – пушай трясет: ухабы-то ведь тоже родимые... А вскоре по возвращении в Петербург случилось ему быть в доме генерал-аншефа Бибикова. Дело шло к вечеру, заявились гости, пришел и Гришка Орлов, стали уговаривать Дениса – читать:

– Коли плохо, так ногами не затопчем тебя!

Денис читал и сам чувствовал, что комедия получилась. Александр Ильич Бибиков, дома хозяин, в восхищении по ляжкам себя нашлепывал, а Орлов даже со стула вскакивал, крича:

– Режь, Денис! Без ножа режь нас, дураков...

В трактире Денис повстречал Потемкина:

– Орлов желает «Бригадира» моего поставить во фронт перед самой императрицей, а я, сам ведаешь, шпыняний боюсь.

Потемкин держал в руке громадный бокал с вином:

– Денис! Маршируй к славе смелее...

День выдался жаркий, когда Фонвизин приехал в Петергоф; ликующая вода, объятая радугами, неслась каскадами к морю. Петергофский Эрмитаж был окружен глубоким рвом, к нему вел подъемный мостик, прозрачные волны дробились о замшелые валуны. Зал второго этажа насквозь пронизало светом, свободно втекавшим через десять окон, а дубовые панели простенков были покрыты живописными полотнами. Посреди зала стоял ореховый стол на 14 персон. Вот раздал-

ся звон колокола – и середина уплыла вниз, попав в кухни первого этажа, потом плавно вернулась наверх, уставленная питьем и яствами по вкусу каждого. Лакеев в Эрмитаже не было («Не должно иметь рабов свидетелями, как хозяин пьет и веселится», – завещал наследникам престола Петр I).

Здесь же был и Потемкин, сказавший:

– Надо бы посадить Расина нашего.

Фонвизин ответил, что ему удобнее читать в движении.

Екатерина встала и сама поднесла ему бокал лимонатису.

– Желаю услужить литературе, – сказала женщина. – Рада видеть в доме своем ум не заезжий, а природный, российский...

Потемкин подмигнул единственным глазом: мол, жарь!

Фонвизин деловито ознакомил гостей Эрмитажа с обстановкою в доме бригадира: комната, убранная по-деревенски; сам бригадир, ходит, покуривая табак; сын его в дезабилье, кобенясь, пьет чай... Вот батюшка-советник посмотрел в календарь:

– Так, – произнес Фонвизин, – ежели бог благословит, то двадцать шестого числа быть свадьбе.

Екатерина удивилась началу (даже вздрогнула).

– *Helas!* – воскликнул сын бригадира.

И началось... Пренебрегая телесною полнотою, Фонвизин живо двигался меж десяти высоких окон. Он обращал взор то в дали морские, где прибой рокотал в бурунах, то озирали зеленые кущи парковых дубрав; голос его звучал на разные

лады, поражая слушателей:

– «О, Иванушка! – взывала бригадирша. – Жена твоя не будет ни таскаться по походам без жалованья, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразили... – Жена! – отвечал ей бригадир. – Не все ври, что знаешь. – В перебранку вступался визгливый голос: – Да полно скиляжничать! Я кацабельна с тобой развестись, ежели ты еще меня так шпепить станешь...»

Смех за столом прерывался напряженным молчанием. За третьим актом возникла неизбежная пауза, которую гости Эрмитажа заполнили скорым писанием записок, их спустили на кухню, чтобы наверх подавали десерты – по вкусу каждого.

Фонвизин, держа в руке свиток рукописи, отдыхал.

– Вы устали? – радушно спросила Екатерина.

– Зачем жалеть-то его? – буркнул Никита Панин. – Добро бы он повар был, а писателей на Руси жалеть не пристало...

Наконец над пышным великолепием стола прозвучали последние слова пьесы: «Говорят, с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете хуже». При этом Панин обернулся к Елагину, погрозив ему пальцем:

– Слыхал, Перфильич, что чиновник твой заявляет?

– Удивительно! – зашумели гости. – Такую дурищу-бригадиршу пять актов слушаем, и еще давай десять – не заскучаем...

Окрыленный, выбежал Фонвизин в темноту вечернего

парка и долго блуждал в одиночестве, среди затихших к ночи фонтанов, где его не поленился разыскать толстяк Никита Панин.

– Покорный ваш слуга! – сказал вельможа. – Осмелюсь предречь вам славу вечную и всероссийскую. Вы искусно преподали нравы наши, а ваша бригадирша всем нам родня близкая. Отчего, смею думать, немало вы врагов себе наживете. Но вы, сударь, еще не ведаете, что произвели: вы первую русскую комедию сочинили!

Он взял с Фонвизина слово, что «Бригадир» будет прочтен перед цесаревичем Павлом. Колесо славы раскрутилось быстро: не было дома, куда бы не звали Дениса с его комедией, он стал известен вельможам высшего ранга, все его ласкали и баловали. Скоро в городе только и говорили об искусстве Дениса Ивановича, и даже на улице Фонвизину кланялись незнакомые люди, спрашивая:

– Уж не сынок ли вы Ивана Андреевича? Радость-то какова... Помню, навестил я вашего батюшку в Ревизион-коллегии. Принес ему громадную сахарную голову и с этой головой в ножки пал. А ваш батюшка (тоже шутник изрядный) сказал мне так-то: «Сахарная голова, пусть даже великая, не есть резон для того, чтобы тебе, сукину сыну, Сибири миновать... Мучайся!»

Это ли еще не комедия? Хотелось Денису знать – что будет с ним дальше? В первые дни славы наугад раскрыл он Библию.

Вот она – шестая глава книги Второзакония:

«И да будут тебе словеса сия...»

«И да накажеш ими сыны твоя...»

...

А вот и старый дом в старом Париже на старой улице Vieille Estrapade, крики торговков селедками, мучительное бляение овец, гонимых на скотобойню; здесь (на четвертом этаже) живет человек, о котором полиции известно: «Роста среднего, лицо чистое, очень умен, но крайне опасен». Это Дени Дидро, сын рабочего-ножевщика, неистовый враг церкви и деспотии, торговый агент Екатерины по закупке произведений искусства для ее столичного Эрмитажа.

Русский посол князь Дмитрий Алексеевич Голицын уселся поудобнее и спросил Дидро, где же его библиотека.

– Она выше – на пятом этаже.

– Не тяжело ли в ваши годы бегать наверх?

– Врачи говорят, что тяжело...

Дмитрий Алексеевич извинился перед ученым за столь долгую задержку с высылкой из Петербурга пенсии:

– Очевидно, государыня занята.

– О! Пусть она не волнуется напрасно...

Голицын сказал: императрица спрашивает, каковы причины, заставившие остановить выбор на Фальконе.

– Фальконе я ставлю выше Пигаля, – был ответ.

– Так! – сказал дипломат. – Но вот у меня в руках ваша же статья, в которой вы браните Фальконе за декоративность манеры, за отсутствие вкуса и банальность темы, за склонность к драпировкам и никчемной символике... Сможет ли этот человек выковать торжественный монумент, достойный величия России?

– Вы всё сказали? – спросил Дидро.

– Да, – Голицын откачнулся в глубину кресла.

Дидро извлек из буфета бутылку с вином. Посол выждал, когда философ выпил три рюмки подряд, потом запечатал вино и спрятал бутылку обратно в буфет, заперев дверцу на ключик.

– Итак, – бодрее заговорил Дидро, – Пигаль достиг совершенства, а Фальконе еще не достиг его. Но для России я рекомендую не Пигаля, а именно Фальконе, ибо этот человек способен к взлетам небывалым. Он груб и нежен, он суров и мягок, деликатен и жесток. В нем бездна ума и чувства пропорции... Давно зная Фальконе, я уверен, что он способен создать нечто великое!

– С вашего изволения, так и отпишу в Петербург.

– Пожалуйста, – отвечал Дидро. – Но должен предупредить вас (а вы предупредите Петербург), что Фальконе – человек сложный, упрямый и капризный, как положено, быть гению. С ним трудно иметь дело! Он равнодушен к признанию в потомстве, зато страшно ревнив к мнению современников... Добрый отец, но сын от него сбежал. До безумия любил

женщину, но заморил ее. Бедняжке Мари Колло нелегко с этим старым ворчуном. Но зато Фальконе – честности удивительной. Я спрашивал многих мастеров Парижа, во сколько они оценили бы создание монумента для Петербурга, и они, словно сговорившись, запрашивали полмиллиона франков. Фальконе же сказал, что все сделает за двести тысяч – такова его скромность.

– Чувствую, – сказал Голицын, поднимаясь из кресла, – мне осталось самое трудное: уговорить мадмуазель Колло.

– А мы навестим Фальконе вместе, – ответил Дидро...

Фальконе чем-то напоминал Вольтера, особенно улыбкою тонких губ, сложенных в саркастическую складку. Голицын и Дидро сразу же стали просить мастера брать за работу дороже:

– Императрица даст вам и триста тысяч франков.

– Никогда! – отвечал Фальконе, взмахивая молотком. – Остальные сто тысяч пусть выплатят мне тем, что не станут мешаться в мою работу, а невмешательство для казны ничего не стоит.

Голицын предъявил ему контракт:

– Вы согласны закрепить его сразу?

– Да! Но... – И Фальконе показал глазами на двери.

В соседней комнате плакала худенькая женщина в черном платье; Голицын, как опытный серцеved, красноречиво высказал массу аргументов в пользу того, чтобы девушка ехала в Россию:

– Поверьте, Петербург засыплет вас заказами...

Он понял, что Колло (на вид несчастная, замученная жизнью) не рискнет покинуть мастера в его одиночестве. Вернувшись к Фальконе, посол спросил его, имеется ли у него план.

– Распростертая над бездной рука царя – и больше ничего! Но эта рука пришла мне в голову сразу... я уже измучен ею.

Голицын обратил внимание на два бюста Дидро: один из них сделал сам Фальконе, другой исполнила Колло.

– Оба они прекрасны! – высказался Голицын.

– Со мною не надо быть дипломатом, – ответил скульптор...

Дидро заговорил, что простертой руки мало:

– Вы покажите Петра, который гонит перед собой варварство с полуразметанными волосами, накрытое звериными шкурами. Варварство, оборачиваясь, еще грозит герою, но уже попруно копытами его коня. Пусть я увижу любовь народов, простерших длани к Петру, осыпая его благословениями. А сбоку пусть лежит могучая фигура, олицетворяющая Россию, которая наслаждается спокойствием и довольством. А потоки светлой воды струятся из расщелин камня...

Фальконе, орудуя молотком, быстро и ловко в куски раздробил бюст Дидро, ударяя его по голове. Голицын закрыл лицо руками:

– Боже, зачем вы это сделали?

– Я разбил свой, худший, оставив лучший – Колло!

Затем он резко обратился к Дидро с выговором:

– Я же просил – не мешать! Петр сам по себе – сюжет, и он не нуждается в атрибутах, объясняющих его дела потомству. Не надейтесь, дружище, что я окружу памятник решеткой, ибо не желаю видеть героя сидящим будто хищник в клетке. А если надо будет защитить монумент от врагов или сумасшедших, то я надеюсь, что в Петербурге всегда найдутся brave часовые с ружьями...

Контракт был обговорен за четверть часа. За стеною плакала несчастная женщина, без которой Фальконе был бы совсем одинок.

– Пусть хоть ничтожная слава, но она была у меня в Париже. Сейчас я похож на Курция, кидающегося в пропасть... В русской столице я обрету одно из двух – позор или бессмертие!

С этими словами Фальконе подписал контракт.

На улице Дидро спросил князя Голицына:

– Вы убедились, какой это сложный человек?

– Я этого не заметил. Самый обыкновенный гений...

В конце 1766 года Фальконе с Колло прибыли в Петербург; мастер ожидал встретить здесь нечто вроде дымного кочевья варваров, а перед ним возник красивейший город Европы. Было уже холодно, падал снег, тонкие сиреневые дымы струились в небе. Передавая императрице корреспонденцию из Европы, скульптор сказал, что желал бы, по поручению Дени Дидро, говорить с нею наедине:

– Мое известие будет касаться лично вас...

8. Разрушение мира

Павлу было уже двенадцать лет, ум ребенка проснулся, глаза смотрели на мать чересчур серьезно. В долгие зимние вечера, наслушавшись разговоров об отце, которого братья Панины сознательно окружали ореолом рыцарского мученичества, Павел подолгу стоял у окон... Что мерещилось ему там, в снежных буревых вихрях? Может быть, мстительная тень Петра III в белом плаще прусского офицера, подобная той, что в мрачных галереях Эльсинора являлась и принцу Гамлету? Никита Иванович уделял великому князю внимание лишь во время обеда, да и то в веселой компании, где мужчины наперебой обсуждали придворных женщин, рассказывали пикантные анекдоты, от которых мальчик катался по коврам, а однажды был застигнут над листанием Энциклопедии, в которой он силился найти объяснение слову «любовь»...

Недавно возникла сцена между сыном и матерью. Павел отказался ужинать в ее кругу, где преобладали громкие голоса Орловых; Екатерина прикрикнула, что лишит его прав на престол.

– И не надо мне его! – ответил сын. – Я уеду в Голштинию, где меня все любят и где я стану герцогом... как и мой отец! Когда утром Панин пришел с докладом, она сказала ему: – Вот как вы замечательно воспитали мне сына...

Панин отделался поклоном. Екатерина, отойдя к зеркалу, исправила злое выражение лица на доброе. Потом спросила: правда ли, что в театре Варшавы спектакля не начинают, пока в ложе не появится князь Репнин?

– К сожалению, так, – ответил Панин.

– Значит, тетива натянута... Аристократ кичливый, его поведение недопустимо, оно может оказаться губительным и для нашей гибкой политики на Босфоре...

Панин затих в кресле, давая ей выговориться.

– Что-то у нас не так, – переживала императрица. – Мы же не ковырялись еще в голове Фридриха и не знаем, какой там суп варится. Кажется, князь Репнин уже допустил ошибку в делах варшавских, и я теперь боюсь, как бы она не стала непоправимой...

Панин тяжело вздыхал. Екатерина думала: так ли уж надобен «Северный аккорд» с опорой на страны лютеранские?

– Ближе всех нам Пруссия, да и той веры мало. Я подписала договор с Англией, но только торговый. Возникни война с турками – и мы останемся в изоляции, а значит, весь «Аккорд» летит к чертям, не имея никакого практического смысла... Сознайся, Никита Иванович: кто надумил тебя на создание этой комбинации?

Панин, сильно покраснев, напрягся в кресле:

– Государыня! Не ломайте с трудом созданное.

– Сломать можно, что сделано, а коли не сделано, так и ломать нечего. «Аккорд» реальной силы иметь не может, и

вот тебе подтверждение: случись беда на юге, на севере Швеция подыметесь – тогда как? Два фронта – не один фронт. Дурные предчувствия у меня, Румянцев пишет, что Украина давно неспокойна... Разве могу я догадаться, откуда грянут первые выстрелы?

Иногда ей бывало очень неудобно на русском престоле. Все пути-дороги в Германию отрезаны, порою она даже задумывалась: правильно ли отказала в чувствах Понятовскому? На худой конец, могла бы стать королевой Польши... Она заговорила снова:

– Я вот о чем спрошу, Никита Иванович: прилично ли великой державе Российской крохоборствовать в Германии, имея под эгидой своей Голштинию, которая нам славы никакой не прибавит?

– Но это же наследственное владение вашего сына! Король английский Георг не брезгает, владея Англией, иметь Ганноверское княжество на материке... Одумайтесь, ваше величество!

Екатерина указала отдать Голштинию Дании.

– За это пусть Дания подарит нам десять кораблей...

Этим широким жестом она лишила сына последних связей с Германией, из суверена Голштинии она превращала Павла в своего верноподданного, который целиком зависел от ее самодержавной власти. Панин это понял. В приемной он повидал Чичерина.

– Ну, как она сей день? – спросил полицмейстер.

– Злая... По причине отказа Руссо поселиться в Гатчине. Ему, видишь ли, климат наш не по нраву. Мне он тоже не нравится, но я смирился – живу... Мы, русские, не от климата помираем!

В окна дворца сыпануло крепким морозным снегом.

...

Страшная метель бушевала и над Потсдамом...

– Как все мертво, безжизненно и прозрачно! Сан-Суси даже не узнать – это скорее кладбище, замеченное сугробами.

Трепетно дымили свечи в шандалах, освещая глубину королевской библиотеки. Король спросил Финка фон Финкенштейна:

– Вы ничего не слышали о русских домнах на Урале? Англичане уже послали туда шпионов, но они безвестно пропали в лесах.

Друг детства короля Финк был теперь его министром.

– Обращаю ваше внимание: Екатерина своего посла Репнина купает в золоте, а наш варшавский посол Бенуа хуже нищего и лишь по великим праздникам ездит за один грош на дохлых клячах.

– Пусть так останется, – сказал король. – И пусть другие кидают в польский котел все больше мешков с золотом, а мы, Финк, отделались орденом Черного Орла...

На столе лежало письмо Екатерины, украшенное оттис-

ком ее личной печати: розовый куст, вдали виден улей с девизом: полезное. Фридрих заговорил о Понятовском: ученый мир потерял в нем мужа просвещенного, но зато Польша обрела посредственного короля. Финк сказал, что русские, кажется, зовут Радзивилла из эмиграции, чтобы он оказал сопротивление антирусским конфедерациям. Фридрих задул свечи. В потемках проступил узкий, как бойница крепости, софит высокого окна, замеченного снегом.

– Слушайте меня внимательно, Финк: мой союз с Екатериною – тактическая передышка, а Никита Панин отъявленный фантазер: его «Северный аккорд» – наивная утопия. Наш альянс – вынужденная мера как для России, так и для меня. Но в дальнейшем весь ход прусской истории следует перестроить фронтом к югу.

– Уж не собираетесь ли вы?..

– Собираюсь! Правда, пока жива Мария-Терезия, союз с Веною для меня нереален. Эта старая воровка еще продолжает рыдать от моих колотушек. Я бил Австрию и могу бить дальше! Зато вот ее сын – Иосиф... Впрочем, – сказал король, – не будем его идеализировать. Он такой же ворюга, как и его матушка, только желающий казаться философом. Времена переменчивы, Финк: раньше королям доставало умения много жрать, пить и охотиться – теперь они, явно вырождаясь, склонны пофилософствовать. И яркий пример тому – «Наказ» русской императрицы!

– У вас какие-либо претензии к полякам?

– Только не сейчас! Потом мы станем обдирать Польшу, как кочан гнилой капусты: лист за листом, город за городом – до тех пор, пока от нее не останется голая кочерыжка. Но будьте уверены, Финк; мы и кочерыжку сгрызем с аппетитом...

Фридрих II пустил о Екатерине крылатое выражение:

– Екатеринизированная ангальтская принцесса!

Еще никто в Европе не отказывал ему в остроумии.

...

Новый день начинался над Варшавой, когда Репнин проснулся в постели Изабеллы Чарторыжской. В кабинете его поджидал легационс-секретарь Яков Булгаков.

– Ночью был курьер, – доложил он. – Из коллегии от Панина пишут, что в ближайшие дни возможны образования новых шляхетских конфедераций.

– Князь Радзивилл еще в Дрездене?

– Да. Пьет страшно. Куфель за куфелем.

– Приставим к нему полковника Кара, который в нужный момент скажет из-за спины: «Panie Kochanku, больше ни капли!» Нет такого условия, которое бы виленский воевода счел для себя унижительным, настолько велико желание его посрамить Чарторыжских и лично короля за свое вынужденное пребывание в эмиграции...

Бурный сейм открылся речью епископа Каэтана Солты-

ка, который заявил, что православные украинцы и белорусы на вечные времена лишаются всех гражданских и политических прав:

– Думающие иначе да будут прокляты святою церковью!
А верных псов Рима не приучить носить чужие ошейники.

И трижды одобрили его речь депутаты сейма криком:

– Дозволяем, дозволяем, дозволяем!

Понятовский в блистательной импровизации, точной и умной, сначала похвалил епископа за верность католицизму, но заметил, что решать что-либо на вечные времена никак нельзя, ведь даже на кольце мудрейшего царя Соломона было вырезано: «И это пройдет».

Репнин выпалил в ярости:

– Сильные своими раздорами, будьте же хоть раз сильны единством! Вы здесь все сыты и пьяны не мощью голосовых связок, а как раз трудом тех самых православных, кои впряжены вами в плуги. Рабам своим, пребывающим в кабале вашей, вы отказываете даже в праве молиться, как они хотят.

Перед ним взметнулся частокол сабель пановых.

– Разве мы не хозяева в своем доме?

Понятовский, разрыдавшись, выбежал вон, а прусский посол Бенуа сладострастно нашептал в ухо князю Репнину:

– Мой великий король будет счастлив от этого хаоса. О боже, как радуется мое сердце.

– И как скорбит мое, – тихо ответил Репнин...

...

Мария-Терезия неизменно считала себя обиженной и обманутой всеми на свете. Европа в ее глазах представляла собой сборище коронованных уголовников, которые только и ждут темного часа, чтобы накинуться на нее и обобрать до последней нитки. Дабы опередить намерения этих жуликов, матрона заранее спешила обглодать всех соседей до костей, так что они потом долго ходили перевязанные. Но при этом ограбленной продолжала считать себя...

Кауниц закончил доклад о варшавских событиях.

– А чем занята распутная тварь? – спросила она.

Понятно, что речь шла о Екатерине.

– Эта тварь только и думает, как бы досадить вашему величеству. Она присылает в Средиземное море корабли, вроде плавучих ярмарок, и теперь русские купцы с их ужасными бородами торгуют икрой, кусками уральской слюды, сибирскими соболями, кожей и брусничкой, воском и канатами. А бочка с клюквой была в Неаполе распродана нарасхват – как дорогой варварский деликатес.

– Нам бы все это! – сказала Мария-Терезия, обладавшая природной завистью ко всему, что принадлежало другим. – Везет же России...

Австрия не забывала, куда течет Дунай и кто живет в его устье. Кауниц желал бы все это поскорее сделать австрийским!

– Но теперь, – сказал он, – после проникновения русских в море Средиземное, надо остерегаться, как бы Россия не спустила свои дикие орды к берегам Черного моря, и тогда Дунай изменит историческое русло свое... Вы даже не представляете, какое ужасное зрелище являет сейчас двор Екатерины: там крутятся македонцы, сербы, валахи, молдаване, болгары, кроаты...

– А-а-а! – воскликнула Мария-Терезия. – Я давно уже догадываюсь, что этим бездельникам не живется под моим добрым скипетром и под мудрым правлением Мустафы турецкого.

– Да, да, – печально поник Кауниц, – сейчас на Балканах в любой лавочке можно купить портрет Екатерины, изображенной в штанах гусара, сидящей на лошади в бесстыдной позе, раскинув ноги по-татарски. Греки и сербы изучают уставы русской армии...

– Хватит! – решила Мария-Терезия. – Пишите моему послу Броньяру в Турцию, чтобы, сдружась с маркизом Верженом, вместе с ним волновал визиря мыслью о безнадежной слабости России, пусть они внушают султану, что положение Екатерины шаткое и чтобы войны с Россией не боялись... Ах, какая мерзкая тварь! И откуда она берет деньги? Граф Брюль перед смертью предлагал мне свою картинную галерею. Но я, обремененная семьей, не могла позволить себе таких расходов, а Екатерина купила... Для этой твари выложить миллион так же легко, как мне высморкаться!

...Екатерина прозвала ее «маменькой».

...

Фальконе передал Екатерине предупреждение ее парижских друзей: бывший атташе в Петербурге Клод де Рюльер сочинил книгу о «революции» 1762 года, в которой о самой императрице рассказывал чересчур откровенно, и теперь книга читается Рюльером на собраниях парижских салонов... «Опять басни!» Екатерина указала посольству в Париже купить книгу у автора и чтобы он поклялся не оставлять для себя ни единой копии. Она еще раз пробежала глазами последнее донесение князя Голицына, убеждавшего ее не избегать попыток к сближению с Францией («поелику Россия нужду имеет во французских товарах»). Напротив этой фразы посла государыня начертала: «А штоб их совсем не было!» Елагину же наказала тишком выведать, с кем тут общался атташе Рюльер? В перечне вельможных имен мелькнуло имя и княгини Дашковой.

Без этой красотишки разве хоть одна гадость противу меня обходилась ли когда? А кстати, как она поживает?..

Елагин сказал – худо. Собирая оброки непомерные, денежки в ломбард складывает, а сама с детишками по гостям кормится.

– Одета убогонько. У старых военных выклянчивает мундиры и аксельбанты, мишуру золотую и канитель серебря-

ную с них спарывает, которые молодым офицерам продавать потом не стыдится. Уже всем в свете прискучили жалобы ее, будто у нее в доме четыре ложки, четыре вилки и четыре ножа...

Обстановка накалилась, когда княгиня Дашкова стала проситься в Париж – ради потребления «свежего воздуха».

– А каким же, спрашивается, воздухом она в России дышит? Ей не воздух надобен, а желательно сплетни обо мне таскать по Европе... Не пущу ее, чтоб она там обносками своими трясла! Уж если русская княгиня такова, решат иностранцы, так мужики наши, наверное, совсем нагишом по снегу бегают... Не пущу!

Весь день у нее было дурное настроение, и лишь вечером ее повеселил Потемкин, рассказав о новом романе Никиты Панина, влюбившегося в юную фрейлину Анечку Шереметеву:

– «И бысть стар царь Давид, и ризы многия не согреваши его, и сыскали царю Давиду девиц юных, и буде лежащи с ним да греючи его, господина царя нашего...»

На улицах русской столицы все чаще попадались дроги, везущие покойников. Причина смерти – оспа!

9. Ньюансы жизни

Год заканчивался – надоел он, ничего не принес, кроме усталости... Мокрый снег косо летел за окнами дворца, лепился к подоконникам, Екатерина работала при свечах. Из протоколов Сената вычитала, что вчерашнее заседание было посвящено разбору дела о колдовстве: старая бабка из города Яранска заставляла червей земляных летать по воздуху, отчего воевода, испугавшись, умер. Екатерина колокольчиком пробила тревогу.

– Захар, – сказала вбежавшему камердинеру, – разбуди скорохода: живого иль мертвого генерал-прокурора сюда.

Вяземского она разбранила:

– Россия в пожарах и бунтах, вокруг все воруют, на дорогах разбои, хлеб дорожает, а мои сенаторы, деньги от казны получая, червяками да глупыми бабками развлекают себя. Ну, помер воевода Яранска – вечная ему память! Сенаторов же за пустое прохождение времени штрафую в сто рублей каждого. Вот пусть вынут из кармана и положат: умнее станут.

Пришел Панин, и она выслушала, что с отзыванием Никифорова из Крыма татары нового русского консула не принимают.

– А французский барон де Тотт еще у татар живет?

– Да. Надо бы написать Обрескову для передачи султану:

нельзя же один яд пить, иногда не лишне и противоядие принять. Ежели консул Франции клеветает на Россию, то Россия вправе своего консула в Бахчисарае иметь, дабы клеветы парижские опровергать...

В какой уже раз возникал вопрос о титулатуре. Версаль умышленно сокращал титул Екатерины: вместо *Votre Majestè impè riale* Шуазель писал *Votre Majestè* (Франция сознательно унижала достоинство России, отказывая Екатерине в «имперском» величии). Панин сказал, что еще раз переговорит с послом де Боссэ:

– Правда, маркиз сейчас болен и в постели.

– Свистнем, так притащится. Ты, Никита Иванович, присутствуй, а говорить с послом сама стану.

Она встретила маркиза сурово:

– Кажется, уже не раз я заявляла, что без полной титулатуры никакие письма из Версаля нами не приемлются.

Посол стал оправдывать редакцию документов правилами французского языка, якобы не допускающими добавления эпитетов к словам *Votre Majestè*.

Екатерина лишь горестно усмехнулась:

– Напрасно в Версале думают, что мы, как дикари, покрытые шерстью, забыли грамматику французскую. Ежели Шуазелю угодно лично меня унижить, то он этого достиг. Но унижить Россию ему не удастся никогда!! – С этими словами Екатерина вернула маркизу известительные грамоты от Людовика XV. – Правительство российское не принимает гра-

мот с ошибками грамматическими, которые правильнее называть ошибками политическими. Пока в Версале не образуются, с вами, посол, я всякие отношения прерываю. Впрочем, желаю вам здоровья...

– Нельзя же так резко с больным, – упрекнул ее Панин.

– Если бы Версаль хотел нашей дружбы, прислал бы здорового...

Перед обедом она велела запрячь санки, отправилась кататься по городу с Пиктэ. Над Марсовым полем задувала вьюга. Пиктэ спросил, сколько миллионов людей населяет сейчас Россию.

– Я точно не знаю, – ушла от прямого ответа Екатерина, – но думаю, что миллионов шестнадцать-семнадцать наберется.

Пиктэ сказал, что Россия со своими неисчерпаемыми ресурсами способна прокормить не менее ста миллионов – всю Европу:

– Вспомните историю: в глубокой древности маленькая Сицилия стала главной житницей гигантской и прожорливой Римской империи.

Екатерина ответила, что в таких вопросах политика у нее простая: сначала своих накормить, потом о других думать.

– Недавно у меня еще был излишек хлеба в магазинах, но Румянцев печалился, что живут голодно, и все, что имела, на Украину отправила. Вот уже пять лет подряд Россия каждое лето заливается холодными дождями – где ж тут быть уро-

жаям хорошим?..

За обедом пришло известие из Парижа: по указу короля Людовика XV ее «Наказ» предан публичной казни – его сожгли на площади палачи, – и Екатерина сразу возгордилась.

– Великая честь оказана мне! – просияла она.

Через пламя этого костра она входила в семью европейских просветителей. Вот как бывает...

...

В доме французского посла собрались дипломаты – навестить больного коллегу. Маркиз де Боссэ, лежа в постели, сказал:

– Разве можно выносить общение с этой ужасной Горгоной? Вчера я был у нее, она повышала голос, швыряла по столу какие-то бумаги, наконец вернула мне листы, подписанные королем.

– Она уморила и моего предшественника Букингэма, – подтвердил Маккартней. – Лондон напрасно уверен, что Екатерина лишь покорная раба нашей политики. Прежние послы получили от нее массу улыбок, немало шуточек и даже танцевали с ней до упаду, но хитрая дьяволица обвела всех вокруг пальца...

Послы сошлись во мнении, что перемен следует ожидать в 1772 году, когда цесаревич Павел достигнет совершеннолетия.

– Еще лет пять, и этот кошмар Европы кончится.

– О, как вы наивны! – возразил пруссак Сольмс. – Она таскает сына за собой чуть ли не с веревкой на шее, а Никита Панин слишком изнежен, чтобы возглавить заговор в пользу своего воспитанника. Екатерина с трудом, но все же умудряется сохранять пристойное равновесие между Паниным и семейством Орловых...

Де Боссэ (истинный француз) не удержался от вопроса:

– Правда ли, что она верна своему фавориту?

– Все мы знаем, как она приятно волнуется перед другими мужчинами, но этим волнением все и заканчивается.

Маккартней сказал, что перемены в России можно вызвать путем искусственным – Орлова следует заменить лучшим мужчиной.

– Но для этого, – ответил Сольмс, – надо найти бесстрашного нахала, который бы статью и красотой не уступал Орлову... Без поддержки же Панина рокировка фаворитами не удастся!

Беседу прервало появление чиновника из коллегии – Маккартнея предупредили о свидании с императрицей в три часа дня (вход во дворец с посольского подъезда). Де Боссэ пожелал ему:

– Милорд, будьте мужественны и осторожны...

Маккартней был принят в библиотеке. Он сказал, что счастлив видеть русскую императрицу, о которой так много говорят и пишут во всех странах мира... Екатерина сразу

прервала его:

– Вы разве уверены, что говорите с русской императрицей? А может, я только двойник той женщины, которую называют Екатериной? Не исключено в таких делах, что настоящая владычица России сидит за стенкою и через дырочку наблюдает, как я, ее точная копия, справляюсь с ролью императрицы...

– Вы шутите! Такое невозможно.

– А почему? Ведь Петр Первый, выезжая с посольством за границу, подавал пиво своим дворянам, играя роль лакея... На всякий случай я вам представляю: доктор и магистр искусств Виттенбергского университета, почетный член Берлинской академии наук по кафедре философии... Теперь садитесь, милорд.

После этого милорду сидеть не хотелось. Екатерина уже имела сценарий беседы, но прежде решила запутать посла, чтобы он не догадался об истинной цели ее намерений.

– Итак, с чего мы начнем? Более всего в дипломатии я не выношу преамбул, в которых нет ничего путного. Перейдем сразу к делу... Сент-джемский кабинет импонирует мне соперничеством с кабинетом версальским. Герцог же Шуазель – не политик, а всего лишь пьяный кучер, думающий, что везет всю политику Европы, а если бы оглянулся с козел назад, то увидел бы кучу гнилой картошки... А вот кстати, – легко переключилась она на Англию, – я не совсем понимаю и стремлений вашего кабинета, который, желая союза с Рос-

сией, почему-то не желает порывать связи и с турецким султаном.

Маккартней поклонился, сказав: Англия – страна меркантильная, и в ней вопросы политики всегда взаимосвязывались с коммерческой выгодой. Екатерина в ответ мило промурлыкала, как кошка:

– Если у вас в Сити принято торговаться, так буду торговаться и я... Послушайте, милорд! Я была честна с вами, отнесясь от вежливых, но пустых преамбул. Что важнее для Англии – потерять на базаре мешок с пиастрами или обрести союз с Россией?

– Сити неисправимо, – вздохнул Маккартней.

– Немного же вы слов нашли в защиту своей политики! Но я веду дела не с банкирами, а с вашим кабинетом, и, когда мне хочется узнать – нет ли пожара в Казани, я не посылаю гонцов в Архангельск, чтобы справились там о ценах на говядину. Давайте же изменим тон – будем говорить честно...

Маккартней предложил: очевидно, турецкую статью в договоре можно подменить шведской (Англия не могла расстаться с Турцией, но отказывалась от Швеции, где тоже царил влияние Версаля). Посол не понял, что это и была цель русского кабинета: обезопасить фланги страны на Балтике в случае войны с турками. Но, хорошо владея мимикой, Екатерина не выразила обуревавшей ее радости. Скучнейшим голосом она сказала:

– Так и быть... я вам уступаю. Переложим ответствен-

ность союза с видов турецких на противодействие видам французским в Стокгольме. Наша беседа имела пока черновой характер. Сейчас у меня личная просьба к вам, посол: в Европе новая вспышка оспы, а я слышала, что в Англии инокулятор Фома Димсдаль делает удачно прививки. Я сама желаю дать пример своим подданным...

«Неужели ради этого вся беседа?» – думал посол. Он все время находился в обороне, отражая скользкие удары то слева, то справа, и теперь решил хоть как-то огрызнуться. Раскланиваясь, Маккартней принял надменный вид и спросил, известно ли императрице в полной мере положение трагических событий в Польше.

– Я не снимаю руки с ее пульса, – был ответ.

– Но польское духовенство... панство...

И за головой Горгоны сразу зашевелились шипящие змеи:

– Перестаньте говорить об этом. В оперу никто не ходит, чтобы слушать хоровое пение. Все идут, чтобы слушать солистов!

...

В канун 1767 года она издала манифест о созыве в Москве депутатов для изучения «Наказа» и для составления свода Нового уложения законов. Новый год был встречен в напряжении чувств и нервов. Оспа уже хозяйничала в Петербурге, и это заставляло императрицу поторапливаться с отъездом.

Екатерина вызвала Чичерина:

– Николай Иваныч, оставляю в лабазах столичных восемьдесят тыщ четвертей хлеба. Надеюсь, с голоду не помрете. В мое отсутствие вели хозяевам, дабы в ночное время ворота запирали, богатые жители сторожей ставили, а бедные собак на ночь с цепей спускали... Головой за порядок отвечаешь!

Генерал-полицмейстер спросил, когда двор вернется.

– Не скоро. Хочу поглядеть, как провинции живут...

Был уже февраль-бокогрей, когда санный поезд, растянувшись по тракту на много верст, выехал в первопрестольную. Стоило Екатерине появиться в Москве, как перед нею стал часто мелькать видный мужчина из дворян рода Вышинских. Красота его была прямо пропорциональна той наглости, с какой он силился обратить на себя «высочайшее» внимание. Екатерина догадалась: Вышинский лишь тайное орудие придворной или дипломатической интриги. Улучив момент, она шепнула этому бесстыжему Аполлону:

– Мои женские достоинства ни в чем не уступают вашим мужским. Но я, к сожалению или к счастью, обладаю не только природными качествами. У меня в запасе еще имеются крепости – Петропавловская, Шлиссельбургская, Кексгольмская и Дюнамюнде... Наконец, есть и Оренбург – чем плох городишко?

Вышинского вмиг не стало, а Екатерина потом призналась Прасковье Брюс, что все мужчины – порода мелкотравчатая:

– Раздуваются перед нами, словно пузыри, а надавишь –

и лопаются. Смотрю я вокруг: такая все мелюзга передо мною...

Курьер доставил известие: маркиз де Боссэ умер.

– Ну вот! Еще один пузырь лопнул... Я согласна завести в Петербурге новое кладбище – специально для дипломатов!

Вслед за поездом царицы пешком прошагал до Москвы и Потемкин, ведя 9-ю роту солдат, которые, распахнув мундиры, босиком шли по обочине тракта. В разгулящем селе Валдае бабы все пригожие, как на подбор, и торговали они связками баранок, сухо гремящих на лыковых мочалах. Григорий зашел в трактир для проезжих, а там полно офицеров, которые блудили на Валдае и картежничали. В задней камерке Потемкин попросил себе водки и каши со свиной. Выпив, заедал водку пучком первого зеленого лука... Здесь же томился на лавке полураздетый сержант Державин, смотрел на всех глазами голодными.

– А-а, Гаврила, автор милый... чего бедуешь?

– Вконец продулся. Маменька моя последни денежки дала, чтобы у Вятки деревеньку справить, а я, грешен, все спустил за картами. Надо бы в полк являться, да сроки прогулял, по трактирам играя. Вот послушай, друг, каков я есть в ничтожестве своем:

Невинность разрушил я в роскошах забав,

Испортил разум свой и непорочный нрав.

Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился –

Повеса, мот, буян, картежник очутился.

– Чего оду не сочинишь? – Потемкин подвинулся на лавке, сажая поэта к столу. – Государыня наша оды жалует.

Тряскою рукой сержант держал стаканчик с водкой.

– Эх, брат! – отвечал с тоскою. – Да не продажный ведь я: пишу, что пишется. Вот уж когда околевать стану в нужде и сраме, тогда, может, и ослабею – напишу вам оду... закачаетесь.

10. Велизарий на Волге

Приволжское дворянство, раздольно осевшее на берегах великой реки, загодя поджидало проезда матушки-государыни, чтобы на нее поглазеть и себя показать. Готовилась и вдова Наталья Тевяшева, бывшая дама внушительной комплекции, которая, достигнув полувековой зрелости, лишена была четырех передних зубов (в народе их принято называть, «жениховскими»). Зубы же дворянке были крайне необходимы еще и по той причине, что имела она молодого «махателя» Лобойкова и хотела ему нравиться. Дело об этих зубах разбиралось потом в Сенате, ими занимался святейший Синод, но осталось навеки тайной, при каких обстоятельствах вдова Тевяшева «жениховских» зубов лишилась. Из опыта жизни известно, что на Руси святой потерять зубы очень легко, зато очень трудно их потом вставить. Еще зимою вдова побывала в Симбирске и Саратове, где дантистов не сыскала. Правда, видела она князя Мещерского, который, живя в Петербурге, искусственными зубами себя до старости обеспечил, но... не ехать же в Петербург! Помещица списалась с Казанью, откуда ответили ей так: «Знатный лекарь имеется, который, что есть касаясь зубов человеческих, хоть и за немалую цену, оныя вставляя берется». Тевяшева позвала лекаря в свое имение на Волге, заранее переживая:

– Князь-то Мещерский сказывал, что один вставной зуб у

него в гостях отвалился, так он его с паштетом и проглотил!

Был веселый месяц май. Скоро должны показаться на Волге расцвеченные коврами и флагами галеры императрицы, а Тевяшева все еще не сверкала белозубой улыбкой. Наконец прикатила бричка, с нее сошел мрачный шарлатан с баулом. Разложив молотки и клещи, выставил флаконы с разными жидкостями, опоясался фартуком из кожи и велел Лобойкову принести веревок покрепче.

Тевяшева так и обмерла со страху:

– А зачем вам веревка-то, государь?

– Чтобы привязать...

– Выходит, мне очень больно будет?

– Не вам, а другим будет больно.

Вдова просила заранее ознакомиться ее с зубами:

– Хочу выбрать, чтобы почище и побелее.

Шарлатан ответил, что никаких зубов не привез.

– Так чего вы в меня вставлять будете?

– Зубов в деревне надергаем. Все помещики тако поступают, у своих крепостных зубы заимствуя. Не волнуйтесь, сударыня: я вымою их в «уксусе четырех разбойников». Отберем самые красивые!

Тевяшева заметила, что в газетах иное пишут:

– Будто в Париже зубы из костей слонов делают.

– Мадам, если поймаете мне слона – пожалуйста...

Лобойков загнал в усадьбу двадцать молодых-крестьянок, из которых дантист отобрал лишь четырех. Бабы изрыда-

лись, умоляя избавить их от позора (нехватка зубов во рту считалась в народе безобразием, а щербатость была даже позорной). Безжалостный шарлатан покушался именно на передние зубы.

– Вяжи баб! – велел он Лобойкову.

Их опутали веревками. Тевяшева спросила:

– А на что вам четырех мучить? Взяли бы одну бабу.

– Ради человеколюбия, – отвечал супостат с клещами. – Дабы не лишать бабу четырех зубов, я у четырех по одному выдерну.

Крестьянки криком изошлись, но лекарь уже запустил в рот свои клещи, с хрустом вытянул первый зуб. Лобойков помог ему раздвинуть стиснутые от страха челюсти второй бабы.

– Урожай хорош, – закончил дело лекарь.

Баб развязали и отпустили. Четыре искомых зуба лежали во флаконе с уксусом, а лекарь обмывал окровавленные руки. Но история не знает, успел он вставить зубы вдове или нет. Молодухи с вырванными зубами разбежались по деревне, громко вещая о своем бесчестии. Мужики похватали косы, топоры и вилы. Шарлатан был уничтожен сразу, а прекрасная Дульцинея со своим любовником бежала в город под защиту власти, и губернатор двинул против бунтовщиков гарнизонную артиллерию...

Надо же было так случиться, что как раз во время пальбы эскадра Екатерины проплывала мимо этого места. Среди

ночи разбуженная залпами императрица вышла на палубу «Твери»; поднялся из каюты и английский посол Маккартней:

– Кажется, нам салютуют? Что бы это значило?

Екатерине надо было как-то выкручиваться.

– О, – сказала она, – в этих краях пасутся столь неисчислимые стада, что пастухам с ними уже не справиться: вместо того, чтобы щелкать кнутами, они стреляют из пушек...

Невозмутимая во лжи, она спустилась в каюту. Из спального салона вышел заспанный Никита Панин, переговорил с послом о прискорбной неудаче с Вышинским... Панин сказал Маккартнею:

– Как видите, она способна быть верной женой.

– Жаль. Другого такого красавца не будет.

– Э, милорд! Еще сколько их будет-то...

...

Путешествие было обставлено помпезно, но Екатерина указала эскадре приставать к берегам пореже, дабы дипломатический корпус, сопровождавший ее, не слишком-то приглядывался.

– У них ведь как, – сказала она фавориту, – увидят помойку или пьяных на улице – радуются, а покажи им достойное и похвалы заслуживающее – косоротятся, будто это ради нарочитого показа сама выдумала, чтобы «поддать дыму» всей

Европе...

Ярославль произвел на дипломатов очень сильное впечатление, особенно видом громадного котла, который в старину кипел на площади, а веселые ярославцы бросали в кипяток проворовавшихся воевод. Правда, времена изменились, и сам народ сделался добычею воевод. Екатерина показывала послам фабрики и сукновальни, амбары и житницы. Безвестный капрал Вася Шишкин, смотритель за поведением скотины на улицах, удостоился руки императрицы, как грозный бич свиней и собак, пожиравших падаль на Фроловском болоте... За разбитною Костромой проплыла небывалая красота Плеса, Кинешмы и Юрьевца, близилась Балахна. В каюту к Екатерине притащили гигантскую стерлядь, пойманную в Шексне.

– Отдайте послам, чтобы их всех разорвало!

Поедая уху из стерляди, проклятой императрицей, иностранные послы говорили, что Екатерина опять что-то пишет. Князь Лобковиц сказал, что Фальконе привез ей роман Мармонтеля «Велизарий», запрещенный цензурой во Франции, и теперь она поспешно перетолмачивает его для русского обихода.

– Вот как? – фыркнул испанский виконт Догерреро.

– Да. Она разодрала «Велизария» на двенадцать кусков и каждый вручила кому-либо из свиты – для скорейшего перевода. Я все могу понять, кроме одного: как Григорий Орлов, которому досталась пятая глава «Велизария», переводит ее

на русский, если он, кроме немецкого, иными языками не владеет.

Маккартней, под мелодичные всплески весел, проследил взглядом, как по берегу, выдирая из песка ноги в лаптях, тянулись бурлаки, таща к ветреной Мологе расшиву с грудой ярко-красных кирпичей. Увы, твердая русская политика заговорила дельцам из Сити волжские пути в Персию... Галера ощутила мягкий толчок, и датский барон Ассебург сказал:

– Поздравляю: русские посадили нас на мель...

В каюту императрицы явился командующий эскадрой Петр Иванович Пущин, доложив, что галера с ходу вошла в косяк рыбы, столь плотный, что весла гребут воду, словно кашу. Екатерина снова обратилась к Мармонтелю: его Велизарий блуждал по свету, поучая царей, как мудрее властвовать над народами. Роман как бы дополнял ее собственный «Наказ» – этим он и привлекал императрицу...

В Балахне галеры поджидал курьер с неприятными известиями: Чичерин докладывал, что запасов хлеба в магазинах оказалось меньше, чем думали, продукты в столице неслышанно вздорожали, а в доношении из Лейпцига сообщали, что начали бунтовать студенты из пажей; перед Екатериной снова замелькали знакомые имена – Федора Ушакова, Андрея Рубановского, Александра Радищева. В дурном настроении она осмотрела Нижний Новгород, который ей очень не понравился, зато Казань обворожила ее. Екатерина писала Бецкому: «Наших кадет должно учить татарскому, ибо вели-

кая то будет для службы польза...» Здесь она нагнала страху на местное духовенство за их зверства над инородцами и вандализм.

– Дикари бородатые! – раскричалась Екатерина. – Древний град Булгар по камушку растащили, как языческое капище, а ведь от Петра Первого указ имеется, чтобы древность эту не ломать и не портить... Ни о чем не думают! Живут так, будто с них все началось – ими же все и закончится...

Григорий Орлов зазывал ее плыть до Саратова – посмотреть на колонии иноземные, но Екатерина решила завершить путешествие в Симбирске. После оживления Нижнего, после разгульной и пестрой Казани захудалый Симбирск оказался скопищем развалившихся сараев, на городе лежала недоимка в 107 000 рублей. Екатерина в сердцах плюнула за борт и сказала, что с этих лучинок и головешек казна даже копейки не получит:

– А штоб они лучше сразу дотла сгорели!..

Бецкому она писала, что на Волге живут неплохо: «Народ весьма сыт и богат, хотя цены везде высокие, но хлеб едят и не жалуются... По лесам же вишни и розы дикие, а леса иного нет, как дуб и липа; земля такая черная, как в других местах на грядах не видим. Я от роду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и все в изобилии!» Пересев с галеры в карету, Екатерина рванула обратно на Москву, примечая в пути, где земли пустуют, где леса напрасно вырублены, где крыши ободраны, где хлеба невысоки...

Однажды ночью, когда проезжали Муромским лесом, Екатерина проснулась от залихватского пересвиста.

– Разбойнички шалят, – сказал Гришка, зевая сладостно, и на всякий случай открыл футляры с пистолетами.

...

По приезде в Москву «Велизарий» был сдан в печать.

– Назло Версалю, – радовалась Екатерина.

Ивана же Перфильевича Елагина она разругала:

– Как тебе не стыдно! Твоя императрица обещала Дидро платить ежегодно по тыще франков в год, а ты забыл ей напомнить.

У кабинет-министра даже глаза на лоб полезли:

– Два года только о том и твержу, а вы...

– Высылай теперь, – сказала Екатерина со смехом. – Только не ошибись в расчете. Россия – страна не мелочная: переводы в Париж сразу пятьдесят тыщ франков – на полвека вперед...

Хитрая bestия! Нарочно задерживала годичную пенсию, выжидая отрицательной реакции в Европе, а теперь, высылая Дидро сразу полувековую пенсию, добилась бурных похвал себе.

11. Граждане России

Москвою управлял победитель Фридриха фельдмаршал граф Петр Семенович Салтыков, и Екатерина встретила почтенного старца стоя, а благо поклон спины не ломит, сама поклонилась ему нижайше:

– Извини, друг, что редко видимся. Поверь, маршал, так измаялась, что к вечеру едва ноги таскаю.

Старик положил на стол трость и шляпу, попросил водки.

– Помилуй! – отвечал он. – Губерния – твоя, дела тут – твои, я – слуга твой, так хоть и совсем не зови меня – не обижусь...

Румянцев из Глухова все время слал сообщения, что гайдамацкая вольница взбулгатила Правобережную Украину, из Польши известия поступали тревожащие, от турок всего ожидать можно. Екатерина показала Салтыкову депешу венского посла князя Дмитрия Голицына: Мария-Терезия начала массовые передвижения войск возле самых рубежей Речи Посполи-той. Петр Семенович сказал на это:

– Ты не бойсь! Вена под носом поляков силой бравивирует, чтобы нам и Пруссии показать: мол, меня-то не забывают...

Екатерина спросила, кто, по его мнению, более всего годен для верховного командования. Салтыков немедля назвал Румянцева.

– А князь Александр Голицын разве слаб?

– Не слаб! В битве при Кунерсдорфе пруссаки с ноги его даже ботфорт стащили, а все-таки на высоте Мюльберга устоял. Храбрец! Но поверь, одной храбрости для управления армией маловато.

Выпив водки, фельдмаршал намекнул ей:

– В делах польских России лучше бы с Пруссией союзничать, а противу турок надобно выступать бы в согласии с Венной.

– Ах, Петр Семеныч! Сама к такой мысли остороженько подкрадываюсь. Условия «Северного аккорда» сильны для меня до той лишь поры, пока Никита Панин силен... А я пока султанша податливая; привыкла своего визиря слушаться. Но при «маменьке» венской вряд ли дружбе бывать, погодим, что дальше будет...

После службы в Успенском соборе Амвросий Зертис-Каменский угостил ее лицезрением микробов через микроскоп. Екатерина ужаснулась:

– Откуда взялась мерзость такая?

Епископ объяснил, что снял мазок с чудотворной иконы, зацелованной прихожанами, и получил видимый результат:

– Пока бог еще милует! Но случись на Москве поветрие какое, и образы чудотворные станут источниками повальной заразы.

– Вы об этом никому не говорите, – просила его Екатерина. – Если бы Платон застал нас за микроскопом, нам бы здорово влетело от него за наше просвещенное кощунство.

– А что Платон? Платон все уже сам видел...

Императрица из кошелька достала 500 рублей:

– Слышала я от Платона, что мой камер-юнкер Потемкин брал деньги у вас, да вернуть долг позабыл.

Амвросий широким жестом деньги от себя отвел:

– Деньги – вздор, а люди – всё! Пусть сам вспомнит.

...

Россия пребывала в постоянной ломке устаревшего и со-
зидании нового, а картина величия империи выписывалась
чересчур сочными и грубыми мазками на полотне всеобщего
бесправия, эпидемий, недородов и кулачной расправы. Ека-
терина II продолжала начатое до нее такой же широкой ма-
лярной кистью – и картина получалась резкой, краски были
кричащи, но тонкая, деликатная акварель для России была
бы и неуместна. Иностранным дипломатам в канун откры-
тия Комиссии об Уложении она заявила вдруг с небывалым
раздражением:

– Перестаньте твердить – рабы, рабы, рабы... Россия име-
ет лишь моих подданных, а скоро явятся новые свободные
граждане!

Москва переполнилась уже гостями. 652 депутата привез-
ли указы от населения, их избравшего, а теперь эти местные
указы с изложением нужд народа следовало согласовать с
«Наказом» императрицы. Депутаты получили для ношения

на груди золотые медали с профилем Екатерины и девизом: блаженство всех и каждого. Некоторые привезли в Москву сразу несколько наказов от своих земляков, и было ясно, что тут за один год со всеми воплями и стонами не управиться... Бумагу возами запасали, сургуч пудами отвешивали, а чернила собирались ведрами проливать!

Потемкин дежурил ночь при дворе, утром был приглашен в покои государыни, которая сказала, что даже не прилегла:

– Если к делам относиться не так, как Елизавета относилась, а вникать во все мелочи, так это сушья каторга, и притом неблагоприятная, ибо мои труды видят немногие, остальные же думают, что я здесь только пью, танцую и гуляю... Вам уж честно скажу: ни одна женщина в мире не должна мне завидовать!

Она заварила левантский кофе (фунт на две чашки).

– Вам не предлагаю, – сказала Екатерина, хозяйничая. – А то я как-то Петру Панину, врагу персональному, дала одну чашечку, так потом мои лейб-медики едва его откачали... Небось он до сих пор думает, что я его отравить хотела!

Потемкина она назначила приставом при Комиссии об Уложении, чтобы депутатов дерущихся силою разнимать:

– При первом же шуме, чтобы драться начать не успели, вы рукопашные прения с помощью своих рейтар пресекайте.

– Будет исполнено, – обещал Потемкин...

Днем она предстала на тронном возвышении, при всех регалиях власти, в горностаевой мантии, подле неё на сто-

ле, крытом малиновым бархатом, лежал ее увесистый «Наказ», на одну ступеньку ниже Екатерины стоял вице-канцлер князь Голицын, и он приветствовал разноликую толпу депутатов речью:

– Зачинайте сие дело великое! Вы имеете случай прославить себя и век наш, обрести высокое почтение и благодарность веков грядущих. От вас ожидают примера все подсолнечные народы...

Екатерина крепко сжала в руках державу и скипетр:

– Россия есть страна великая, единая и неделимая! Россия – держава суть европейская, а граждане российские суть европейцы. Все существенное в народе нашем всегда было европейским, а все азиатское, и для нас чуждое, было временным явлением и случайным. Однако пределы империи Российской объяли пространства восточные столь обширно, что ныне и в Азии нет державы более могущественной, нежели опять-таки наша Россия...

Она заметила шушуканье среди послов иноземных. Пусть слушают! Сейчас в Грановитой палате Кремля Московского собралась вся Россия – Московская, Киевская, Петербургская, Новгородская, Казанская, Астраханская, Сибирская, Иркутская, Смоленская, Эстландская, Лифляндская, Выборгская, Нижегородская, Малороссийская, Украинская, Воронежская, Белгородская, Архангельская, Оренбургская, Ново-Сербская, – и каждая из этих частей империи могла бы составить немалое и могучее государство Европы... Резким

жестом Екатерина выбросила скипетр вперед.

– Не желаю я дожить, – звонко выкрикнула она, – до такого дурного несчастья, когда бы намерение законов наших исполняемо не было! Боже всех нас сохрани, чтобы после окончания работ над законами оказалось бы, что где-то в мире еще существует народ, который счастливее народа нашего – великого народа русского!..

Заиграли на хорах трубы, стали избирать маршала. Больше всех голосов получили братья Орловы, а менее всех князь Михайла Щербатов, депутат ярославский, и, человек тщеславия непомерного, он уже разъярился, ходил меж рядов депутатских и порывивал:

– Нонеча, скажу я вам, породу древнюю не почитают. Всякие пьяные бурлаки вперед прут, а нас, бедных бояр, затискали.

– Эвон мужики-хлеборобы сидят, – указал ему Гришка Орлов, – у них порода твоей, князь, древнее. Так почитай их!

– Как тебе не стыдно, граф, меня с ними равнять?

Между спорщиками круто вломился одноглазый Потемкин:

– Тиха, тиха... Ведь еще прения-то не начинались!

Орловы добровольно уступили жезл маршала комиссии генералу Александру Ильичу Бибикову. Отмолвившись, четыре дня подряд вслух зачитывали «Наказ» императрицы, а в пятом заседании, уже соловая, стали проявлять ретивое нетерпение:

– Чем возблагодарим матушку за мудрость ея?

– Арку триумфальную воздвигать надо!

– Чего там арку? Статуей отольем из чистого золота...

От арки и золотой статуи Екатерина отказалась:

– Нельзя ставить памятники при жизни человека. Пусть

он помрет сначала, никак не менее тридцати лет должно миновать, чтобы страсти поутихли, чтобы свидетели дел повымерли, – лишь тогда истина обнаружится и поймут люди, достойна ли я места в истории государственной... Тогда уж и ставьте, черт с вами!

А князь Щербатов все ходил да порывкивал:

– Такого повреждения нравов на Руси, каковое с очами плачущими наблюдаем в сие царствование, еще не бывало, и предки наши благородные в гробах стонут от временщиков и куртизанов происхождения подлого. Деда наши по Европам не шастали, виноградов разных не пробовали, оттого и жили по сто лет без болезней да в сытости доброй...

Бибиков предложил Екатерине титуловаться «Премудрой и великой матерью Отечества», но опять не угодил.

– Побрякушками не украшаюсь! – отвечала она. – Уж не такая я, Александр Ильич, премудрая, как тебе кажусь, а мать отечества лишь по долгу своему... Величие человека чаще всего есть не его собственное, а лишь тех великих людей и событий, которыми он удосужился окружить себя... Вот ежели удастся мне такого сочетания достичь, тогда – да, не спорю, стану и я великой!

Она вышла на балкон дворца, под нею хороводил и галдел народ московский, и князь Вяземский не удержался от лести;
– Ах, матушка наша! Гляди сама, сколько много расплескалось на этих стогнах радости и любви к тебе, великая осударыня.

Екатерина хорошо знала цену любой лести:

– Если бы сейчас не я на балкон вышла, а ученый медведь стал бы «барыню» отплясывать, поверь, собралась бы толпа еще больше.

Братьям Паниным она присвоила титул графский.

– Пять лет прошло – когда же война, Никита Иваныч?

– Сейчас и начнется, – ответил ей «визирь».

...Было очень жаркое лето 1767 года.

Занавес

Панин был прав: борьба возникла, едва депутаты перешли к обсуждению своих наказов. Екатерина укрылась в древнем тайнике Грановитой палаты, иногда на цыпочках проходила за ширмами, поставленными за спиной Бибикова, откуда и слушала, что говорят. Ей давно казалось, что русская жизнь уже вполне изучена ею, – и вдруг, в этой яростной брани словесной, она ощутила свое полное неведение страны, а это был болезненный удар по ее самодержавному самолюбию... Потемкину она честно призналась:

– Сама улей отворила, и потому некого винить, что пчелы жалят. Спасибо камчадалам да самоединам, которые, в Блэкстоне и Монтестье не разобравшись, рады, что в тепло попали, и об одном молят, чтобы не обижали их зыряне. Нет у меня гнева и на мужиков, которых ярославский депутат князь Щербатов публично «скотами ленивыми» обзывает... Об одном прошу: будьте бдительны!

Потемкин старательно вникал в разноголосицу прений, чтобы соколом ринуться на звучание любой оплеушины, следил, чтобы гражданская борьба не обернулась мордобоем кабацким. Бибиков дерзновенных штрафовал – в пользу сироток и подкидышей. А права сословий перемешались в спорах озлобленных. Дворяне требовали для себя владения фабриками, желая иметь доходы купеческие; заводчики, подобно

дворянам, хотели крепостными владеть, как ими дворяне владеют, – Грановитая палата еще никогда за всю историю не слышала таких истошных воплей: рабов, рабов, рабов нам!

Но раздавались и здоровые голоса: нельзя же у крестьян брать, ничего взамен не давая, и таким доброжелателям учинял отпор князь Михайла Щербатов, надменный трубадур чваннобоярской аристократии, столбовой глашатай ее древлеисторических прав:

– О свободе рабов наших и толковать-то мне совестно, ибо всякий ведаёт, что держать подлых на цепях надобно, яко псов смердящих, ослабь же цепь – изгрызет он тебя!

Щербатов доказывал: управляя рабами, дворянин учится управлять государством, а поместье его – это лишь образчик империи. Князя поддерживал верейский депутат – Ипполит Степанов:

– Давно примечено, что помещики в ласковости живут с рабами, балуя их всячески, как родители детишек своих.

– И детишки балованны режут по ночам родителей своих, а жилища их поджигают в ласковости! – не выдержал Григорий Орлов, для которого не прошли даром ни общение с великим Ломоносовым, ни гатчинские опыты с крестьянами...

Потемкин вздрогнул от ругани Степанова:

– Гораций писал о себе, что столь беден был – всего трое рабов ему за столом служжали... А сколько у тебя, граф, лакеев?

Глаза фаворита даже побелели от бешенства.

– А зачем тебе знать? Говори что хочешь, но Горация-то к чему приплел? Лучше еще разочек «Наказ» матушки прочитай.

– Уже слышал... дурь ее! – И верейский депутат под ноги себе «Наказ» бросил, начал топтать его...

Екатерина указала Потемкину из-за ширмы:

– Взять его – в безумии он.

Потемкин с рейтарами повлек Степанова на двор. Депутата (неприкосновенного!) запихнули в кибитку, обшитую кожей, и отвезли не домой в Верею, как наивно полагал он, а чуть подальше – прямо на Камчатку. Но уже раздались дерзкие голоса, чтобы впредь императрица самовольно указов не предписывала, а прежде спрашивала одобрения депутатов комиссии, с чем маршал Бибииков весьма неосмотрительно и согласился.

– Вестимо, – сказал он, важничая, – что, наших умных речей послушав, государыня и сама не захочет дела без нас решать...

Александр Ильич и сам испугался своим резонам. За ширмою вдруг гроыхнуло упавшее кресло, послышался хруст платья удаляющейся императрицы. Наконец, в дебатах «порода» схлестнулась с «чином»: старый, наболевший вопрос! Щербатов и его присные стали призывать к уничтожению петровской «Табели о рангах», чтобы дворянство было лишь обретенное от предков:

– А подлому люду гербов и карет не заводить!

Против него стенкою встали офицеры и чиновники, заслугами украшенные, но предков славных – увы! – не имевшие:

– Что значит порода? Ведь если твоих предков копнуть глубже, так наверняка был кто-то первый из Щербатовых, который до княжения своего землю пахал, как и наши родители ее пахали...

Екатерина, послушав эту брань, сказала Вяземскому:

– Они правы! Если отнять у людей надежду на возвышение, то руки у всех на Руси отсохнут и никто ничего делать не станет. А держава одной аристократией сильна не будет...

В спорах быстро миновало лето, потекли дожди, похолодало. Неожиданно в комиссии раздался голос Григория Коробьина, депутата козловского, который осудил жестокий произвол крепостников, призывая ограничить власть дворянскую над душами поработоченными. А когда сличили козловский наказ с его словами, то выяснилось, что, посылая Коробьина в комиссию, дворяне просили его совсем о другом – об усилении власти дворян над крепостными! Началась драка. Потемкин подоспел, когда несчастного депутата крепостники уже топтали ногами... Рейтары вырвали избитого из кромешной свалки, Потемкин оттащил его на двор, присыпанный первым снегом.

– Умойтесь, сударь, – сказал он ему.

Коробьин снегом вытер лицо от крови:

– Меня вот не слушают, а я ведь прав: придет время, не за горами оно, когда поднимется Русь мужичья, и как я сейчас

плачу, так будут рыдать те, кто меня не слушает. Но мои-то слезы еще натуральные, а вот ихние будут кровавыми...

Екатерина после этого решила покончить с комиссией, но прежде созвала сенаторов, вытряхнув на стол перед ними целый ворох челобитных, что были поданы на ее имя.

– Шестьсот слезниц! – сказала она. – И все от крестьян, удрученных поборами, зверствами дворянскими.

Граф Петр Иванович Панин решил отвечать за всех.

– Надобно рабам нашим, – заявил генералище, – крепко и наижесточайше, под страхом истязания мучительного, запретить на своих господ жалиться, тогда и челобитных пустых не станет.

Екатерина подписала указ – со слов панинских. Генерал-прокурор князь Вяземский справедливо (!) заметил, что она поступает крайне нелогично.

– В таком случае, – сказал князь – нет смысла осуждать и зверства Салтычихины, ибо судебный процесс над нею не с бухты-барухты, а именно с жалобы крестьян начался...

– За логикой, – раздраженно ответила Екатерина, – вы в Ферней поезжайте, а сидя на бочке с порохом, о логике не думают! Как бы поскорее с бочки-то спрыгнуть да убежать подальше...

Она спешно укатила в Петербург, чтобы бежать от собственных фантазий, чтобы не запятнать себя кровью Салтычихи!

...

«Милостливый осударь мой, донесу только вам, что у нас в прошедшую субботу соделалось. Воздвижен был на Красной площади ашефот, возвышенный многими ступенями, посреди коего поставлен был столб, а в столб вбиты три цепи; и кого дня сделана публикация, а по знатным домам повестка, что будет представлено позорище... везена была на ропусках Дарья Николаевна вдова Салтыкова... по сторонам которой сидели со шпагами гренадеры. И как привезена к ашефоту, то, сняв с ропусков, привязали (ее) цепями к столбу, где стояла она около часу. Потом, посадя паки на ропуски, отвезли в Ивановский девичий монастырь в сделанную для ней... покаянную (камеру), коя вся в земле аршина в три (глубиной), и ни откуда света ей нет. Когда есть должно будет, и то при свече, и как отъест, огонь велено гасить, и во тьме ее оставить. И быть ей так до самой смерти...⁵ Что ж принадлежит до народу, то не можно поверить, сколь было при казни онаго: на всех лавочках, даже на крышах домовых – несказанное множество, так что многих передавили, а крест переломали довольнотаки... Еще донесу: у нас уже зима, на саночках ездить стали».

⁵ В таком одичалом состоянии Д.Н. Салтыкова прожила 33 года, умудрившись родить ребенка от караульного солдата, и умерла в 1801 г. Потомство ее прекратилось в 1852 г. со смертью внучки, графини Е.Н. Раймон ди Моден, постоянно проживавшей в Париже.

Действие шестое. Напряжение

*Необходимая судьба
Во всех народах положила,
Дабы военная труба
Унылых к бодрости будила.*

Михайло Ломоносов

1. Завязка войны

Сначала были: Бар – Умань – Балта.
Но завязка всему находилась в Варшаве...

...

Король Станислав Август Понятовский проснулся, на его груди покоилась голова прекрасной княгини Изабеллы Чарторыжской, женщина открыла ослепительные глаза:

- Думай о Польше, круль, спаси ее.
- О, как бы я хотел этого, сладчайшая из женщин...

Въезд раніе Кочанку Радзивилла в Вильно свершился при набате колоколов, за каретой катились пушки, шагали солдаты, а полковник Василий Кар не давал воеводе напиток-

ся до потери сознания. В разгар прений Варшавского сейма появился князь Репнин:

– Перестаньте шуметь, панове, иначе я тоже подниму шум, но мой шум будет сильнее вашего.

Понятовский пытался вызвать сочувствие посла:

– Скажите, как мне властвовать в таких условиях?..

Новая – коронная! – конфедерация заседала в Радоме близ Варшавы, и Радзивилл начал нескончаемое застолье. Кару он доказывал:

– Трезвый я не умнее пьяного, это уж так! Дай мне напиться, и ты увидишь, какой я верный союзник Екатерины...

С трудом он выклянчил у Кара один куфель:

– Бывали у меня и лучшие времена. Вот, помню, в литовской пуще повстречал я медведя... ростом он был со слона! Ружья при мне не было, но разве я растеряюсь? Я открыл табакерку с албанской махоркой. Дал понюхать. Медведь чихнул раз, чихнул два и не мог остановиться. На чихающего я накинул петлю и...

Замолчал. Кар спросил: что было дальше?

– Налей мне еще куфель, тогда узнаешь.

Выпив, он вытер длинные усы.

– После этого я привел медведя в Варшаву, и там наш «теленочек» Стась научил его танцевать мазурку с пани Грабовской.

Два куфеля – мало. Радзивилл начал новый рассказ:

– А то вот еще случай. Однажды в лесу я напоил шампан-

ским громадное стадо диких свиней. А в соседней деревне был такой голод, что холопы уже бросали жребий, кого из вдовушек съесть первой. Они натерли хрену покрепче, уже вода кипела в котле, самая красивая вдова в деревне начала раздеваться, чтобы нырнуть в кипяток, но тут...

Он замолчал. Кар спросил: что дальше было?

– Ничего не было! Дай мне напиться, чтобы не до конца погибла моя совесть, – отвечал раніе Kochanku и вдруг заплакал...

Репнин арестовал епископа Солтыка, выслал его за Вислу, и после этого православные получили одинаковые права с католиками. Радзивилл завершил сейм маскарадом, но танцевать, конечно, не стал, сказав Репнину:

– Я счастлив, что снова могу пить сколько влезет. Но знай, посол: сейчас в наши дела вмешается Версаль, герцог Шуазель обязательно толкнет султана, алчная Вена давно сторожит вас.

– Французами здесь и не пахнет, – засмеялся князь...

Но Изабелла Чарторыжская уже проснулась в объятиях французского герцога де Лозена; она проявила бурную страсть:

– Не спи, негодяй! Хоть ты спаси Польшу...

Лозен был тайным агентом Шуазеля. Екатерина (как и Репнин) еще не понимала, что все свершаемое сейчас в Варшаве вызовет войну с Турцией. Но это очень хорошо понял литовский «барон Мюнхгаузен», пьяница и враль Рад-

зиви́лл, кото́рый после сейма снова удалился в эмиграцию.

...

Глухов просыпался, дымки печей сладко запахли на окраинах малороссийской столицы. По снегу скрипели санные обозы – чумаки ехали в Крым за солью. Петр Александрович Румянцев подтянул пудовые ботфорты, прицепил шпагу.

– Поехали за орехами, – сказал он секретарям...

Украина была еще в границах неоформленных. Малая Россия чаще звалась Гетманщиной, она тянулась по левобережью Днепра, в Глухове располагалась Коллегия, а южнее, в зыбком мареве степных раздолий, терялись неясные рубежи Запорожья, смыкавшиеся с владениями крымских ханов, – это была уже Сечь, извечно жившая наготове к бою. А восточнее кипела богатая, звонкая и певучая жизнь сельских слобожан, отчего весь край (со столицей в Харькове) назывался Слобожанщиной, и тут речь украинская чаще всего роднилась с русскою. За правым же берегом Днепра тянулись земли Речи Посполитой, владения панов польских, державших в нетерпимой кабале народ нам родственный, народ украинский...

Бурая лошаденка влекла саночки с Румянцевым, на запятках стояли два секретаря – Петя Завадовский да Санька Безбородко, о которых генерал-губернатор отзывался так: «Один прямо Адонис, но с придурию, а второй умен, но лю-

бая жаба его краше...» Румянцев был крут. И когда в заседании коллегии Малороссийской по одной стороне стола сели русские, по другой – украинцы, он гаркнул:

– Опять! Опять по разным шесткам расселись?

Генеральный есаул Иван Скоропадский сказал:

– Тако уж испокон веку завелось, чтобы мы, шляхетство украинское, сидели розно от чинов москальских.

Румянцев кулаком по столу – тресь, велел батально:

– А ну! Пересесть вперемешку. Желая хохлов видеть с москалями за столом дружественным, да глядеть всем поласковой...

Он управлял из Глухова указно – без апелляций:

– Живете в мазанках, а лес на винокурение изводите. После вас, сволочей, Украина степью голой останется. Указываю: винокурением кто занят, пушай лес сажает. Без этого вина пить не дам! Заборов высоких не городить – плетнями обойдетесь: это тоже для сбережения леса. А бунчуковых, писарей генеральных, обозных не будет на Украине – всех в ранги переведу, как и в России заведено...

Канцелярию он обставил 148 фолиантами по тысяче страниц в каждом – это была первая Украинская Энциклопедия, им созданная. В ней содержалась подробная опись городов и ярмарок, сел и местечек, доходов и податей, ремесел и здоровья жителей, перечень скотины и растений, дубрав и сенокосов, шинков и винокурен, рыбных ловлей и рудней железных. Он завлекал старшину в полки, но старшина упрями-

лась, присылая справки от врачей – мол, недужат. Румянцев бушевал:

– Сало жрать да горилку хлестать – здоровы, а служить – больны?

Неисправимых сажал в лютый мороз верхом на бронзовые пушки, как на лошадей, и в окна коллегии поглядывал: как сидят? не окочурились ли? Екатерина прислала ему письмо, с прискорбием сообщая, что отошел в лучший мир фельд-маршал Миних. Звякая шпорами, Румянцев ходил по комнатам, диктуя секретарям:

– От Миниха покойного осталась в степях кордонная защита противу татар... Таковая система, хотя и в Европах одобрена, нам в обузу. Дозволь высказаться...

Румянцев ей писал (уже в какой раз!), что кордоны, бесполезные в степях, татары обойдут стороною, благо дорог там нету и гуляй где хочешь. А вместо кордонов предлагал создать подвижные отряды – корволанты; от оборонительной тактики он советовал переходить к активной – заведомо наступательной...

Взяв конвой и походную канцелярию, Румянцев совершил инспекционную поездку по Украине; ночь застала генерал-губернатора на степном хуторе, ночлеговал в мазанке. Старый дед в белых портах, уже слепой, сказывал ему так, словно любимую песню пел:

– У Сечи гарно живеться! Прийде було до их чоловик голый та босый, а воны ёво уберут, як пана, бо у запорожцев

сукон тих, бархатов, грошей – так скиль завгодно. Воны и детей по базарам хапают: примане гостинчиком – та й ухопе до Сечи...

Сечь, как и гайдамаки, Румянцева заботила; утром он выехал к Днепру, на правом берегу догорало зарево – это опять подпалили усадьбу панскую. В жестокости непримиримой уже разгоралось пламя народной войны – колиивщины (от слова «колій» – повстанец).

Интуицией солдата Румянцев ощущал близость битвы.

...

– Кажется, – сказал король Репнину, – вы хотите, чтобы я жил с пожарной трубою в руках, заливая возникающие пожары. Вот вам расплата за вашу дерзость: в могилевском Баре возникла новая конфедерация, и в ней – Мариан Потоцкий, Иосиф Пулавский с сыновьями, Алоизий Пац и еще тысячи других крикунов. Лучшие красавицы страны снимают со своих шеек ожерелья, вынимают из ушей бриллиантовые серьги и все складывают на алтарь восстания. – Будь проклят тот день, когда я стал королем...

Растерянность посла не укрылась от взора Якова Булгакова, который и подсказал ему – не мешкать:

– Прежде всего, князь, надобно срочно известить Обрескова о затеях барских конфедератов.

– Садись и пиши – Обрескову, затем Панину... А вечером

будет ужин, надо пригласить коронного маршала Браницкого.

Франциск Ксаверий Браницкий усердно поддерживал тесный союз Варшавы с Петербургом. Маршал подбривал лоб и затылок, не изменял и костюму польскому.

– Посол, – сказал он Репнину, – безумцы в Баре все драгоценности, что собраны с красавиц наших, уже послали в дар султану турецкому, жаждая призвать на Подолию крымских татар. В ослеплении своем не видят из Бара, что землю нашу в какой уж раз вытопчет конница Гиреев крымских, а жен и дочерей Подолии татары на базарах Кафы, как цыплят, расторгнут...

Стол русского посла сверкал от изобилия хрусталя и золота, вино и яства были отличными. Репнин заговорил: трудно жить в стране, где Бахус и Венера суть главные советники в политике, а чувство здорового патриотизма заменяет католический фанатизм. При этом он добавил, что султан Мустафа III достаточно благоразумен:

– И повода к войне у Турции ведь нету!

Эту тираду посла тут же оспорил легационс-секретарь Булгаков:

– Повод к войне, князь, может возникнуть нечаянно.

– Пожалуй, – согласился с ним Браницкий...

Его родная сестра, княгиня Элиза Сапега, была любовницей Понятовского. Николай Васильевич это учитывал: придушив свечи, он сказал в полумраке, что Элизу Сапегу от-

благодарит:

– Если ваша ясновельможная сестра внушит его королевскому величеству, что спасение страны – в помощи русской армии.

– Я надеюсь, – отвечал ему Браницкий, – что Стась не будет возражать, если я возьму под свои хоругви компутовое (регулярное) войско. Я разобью конфедерацию Бара! – поклялся коронный маршал. – Но за это вы, русские, дадите мне право наказывать разбойников-гайдамаков, тревожащих пределы Речи Посполитой.

Договорились. Репнин велел генерал-майору Кречетникову примкнуть к Браницкому. Русско-польские отряды двинулись в Брацлавское воеводство – на Бар! Страшные картины встречались им в пути: горели храмы православные, лежали мертвые младенцы и матери, на придорожных деревьях висели казненные в таком порядке: гайдамак, крестьянин, собака. Над ними конфедераты писали: два лайдака и собака – вера одна. Проскакивая на арабском скакуне, Браницкий своим высоким султаном не раз уже задевал пятки висельников:

– Трупы, трупы, трупы... Кто же пахать будет?

– Об этом в Баре не думают, – отвечал Кречетников...

Браницкий с компутовым войском примчался под стены Бара, и началась безумная сеча – ляха с ляхом. Бар был взят. Пулавский с остатками конфедератов бежал в Молдавию, где отдался под власть султана турецкого. А князь Мариан

Потоцкий сумел прошмыгнуть в пределы Австрии, где Мария-Терезия, плача навзрыд, расцеловала вешателя гайдамаков, украинских крестьян и дворовых собак.

– Ваше величество, спасите вольности шляхетские!

– Это мой христианский долг, – уверила его императрица.

Коронованная хапуга, она потихоньку уже вводила свои войска в Ципское графство, принадлежавшее Польше. В сумятице событий этой подлой агрессии никто в Европе даже не заметил. Но первый шаг к разделу Польши был уже сделан – не нами, не русскими!

2. Оспа – бич божий

Канун войны совпал со зловещим шествием оспы по Европе, и эта зараза не щадила ни хижин, ни дворцов королей. Совсем недавно умерла от оспы невестка Марии-Терезии, а сейчас «маменька» спешно устраивала счастье своих дочерей... Руки старшей дочери Иоганны просил Фердинанд IV, король Сицилии и Неаполя, но перед свадьбой мать заставила Иоганну молиться над прахом усопших предков. Надышавшись миазмами мертвечины, невеста скончалась от оспы, а Мария-Терезия, горестно рыдая, утешила жениха:

– Такова воля божия! Но уже подросла Юзефа... Однако ты не думай, – сказала она Юзефе, – что покинешь Вену ради Неаполя, прежде не покайся на гробах достославных предков.

Бедная девушка упала в ноги матери:

– Пощадите меня, я не в силах исполнить ваших желаний! Там лежат эти страшные мерзкие трупы... избавьте, умоляю вас!

– Нет, до свадьбы ты должна покаяться.

– Безгрешна я, в чем же каяться?

– Тащите ее, – распорядилась императрица.

Невесту силой завлекли в подземелье церкви Святых капуцинов, где мать заставила ее лобызать оскаленные черепа пашуров; тут же лежала и недавно умершая от оспы невестка.

ста, которую болезнь изуродовала до такой степени, что ее тело не поддавалось даже самому интенсивному бальзамированию. Едва выбравшись из склепа, Юзефа вскоре ощутила боль в крестце, врачи определили – оспа! Вместо беззаботной жизни под солнцем Неаполя девушка погрузилась в мерзкую усыпальницу своих достославных предков...

Бравый король Сицилии выразил недовольство:

– Видит бог, как я терпелив, но снова объявлен траур в славном доме Габсбургов. Вы звали меня в Вену ради веселья, а я уже второй раз тащусь за погребальными колесницами.

– Потерпи, король. У меня есть еще Каролина...

Дни траура, чтобы не скучать, Фердинанд IV скрасил шутовским представлением похорон Юзефы; своего пажа нарядил покойницей, положил в гроб, а лицо его обкапал горячим бразильским шоколадом, имитируя оспенные язвы. «Не хватает лишь гноя и зловония!» – веселился король. В церемонии похорон шутовские соболезнования принимал высокообразованный английский посол сэр Уильям Гамильтон...

– Каролина счастлива быть твоей женой, – сказала королю Мария-Терезия. – Но прежде я заставлю ее покаяться на гробах своих предков, как положено в древнем доме благочестивых Габсбургов.

Тут воспротивилась сама Каролина.

– Нет, – заявила она. – Лучше я выброшусь в окно, но не полезу в эту вонючую яму, чтобы потом сгнить в ней заживо.

Ее страстно поддержала юная сестра Мария-Антуанетта (будущая королева Франции, которой суждено погибнуть под ножом гильотины). Императрица обругала дочерей безбожными еретичками, сказав при этом, что в старые добрые времена таких «лечили» на кострах.

– Ладно! Я сама замолю ваши грехи...

Она забралась в склеп и сидела там на родимых трупах, плача о заблудших душах юного поколения. «Маменьку» сам черт не брал – она выбралась оттуда жива и невредима. Молодецкий весельчак Фердинанд IV женился на Каролине и, восстав с ложа Гименея, отправился на рыбную ловлю.

Обо всем этом русский двор был извещен через донесения своего посла князя Дмитрия Голицына. Скромный человек, он не стал писать Екатерине, что в разгар оспы при дворе Габсбургов ему посчастливилось спасти семью одного музыканта, в которой оспа выжгла глаза мальчику и все думали, что он ослепнет...

Звали этого мальчика – Вольфганг Амадей Моцарт!

...

Петербург долго выражал презрительное возмущение:

– Какое беспримерное ханжество, какая дикость! Впрочем, всему миру известно, что племя Габсбургов состоит из одних ненормальных. У нас такого изуверства никогда не может случиться...

Брейгель на картине «Слепые» увековечил ужас Европы: глаза его слепцов, падающих один за другим в канаву, выжрала оспа. Россия тоже знала скорбные вереницы людей с поводьями: оспа сделала их слепыми, жалкими нищими. Екатерина не могла скрывать своего страха. «С детства, – депешировала она Фридриху II, – меня приучили к ужасу перед оспой... в каждом болезненном проявлении я уже видела оспу. Весной я бегала из дома в дом, изгнанная из города. Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него». Оспенный мартиролог XVIII века был страшен: едва ли один человек из тысячи не переболел оспой! Казалось, человечество покорилося року, а могучая зараза обглаживала заживо сотни, тысячи и миллионы людей. Оспа уже гнездилась в Зимнем дворце, и знакомые императрицы, молодые цветущие и веселые женщины, переболев оспой, снова появлялись на балах, но уже покрытые рубцами, изъязвленные, несчастные...

Куда же делась их былая живость и красота?

В один из вечеров, заступая на придворное дежурство, Григорий Потемкин застал императрицу в состоянии встревоженном. Камер-лакей держал перед нею на подносе рюмку мадеры и стакан теплой воды с черной смородиной – это было «снотворное» царицы, но сейчас она от него отмахнулась. Сказала так:

– Проводите до фрейлинских. Там что-то нехорошо с невестой графа Никиты Панина – с Анютою Шереметевой,

и я боюсь...

За больною фрейлиной ухаживал врач Джон Роджерсон, молодой шотландец, лишь недавно принятый на русскую службу.

– Что с нею? – шепотом спросила Екатерина.

– Жар. Но пока неясно, в чем дело...

В жирандолях коптили быстро догоравшие свечи. Потемкин поднял свой шандал повыше, отчего на лицо фрейлины легли глубокие тени.

– Уйдем отсюда! – быстро сказала императрица.

При резкой перемене освещения лицо девушки покрылось лиловыми пятнами: сомнений не было – оспа. Екатерина в ту же ночь покинула столицу, затаилась в опустевших дворцах Царского Села, на каждого входящего к ней смотрела с большим подозрением. Потемкину она честно призналась, что ждет не дождется Фому Димсдаля. Шереметеву пышно хоронили на кладбище Александро-Невской лавры, старый Никита Панин плакал, а Гришка Орлов был ужасно пьян.

– Такого удобного случая больше не будет, – сдерзил он Панину. – Твой обоз на тот свет уже отправлен: глаза плохо видят, зубы выпали. А тут – гляди! Архиереи собраны, колесница готова, сам ты при полном параде – ложись и поезжай вослед за невестою.

Что взять с пьяного? Панин отвечал куртизану:

– Буду иметь большое счастье отвезти раньше вас...

Потемкин намекнул ему, что, очевидно, понадобится приличная эпитафия на смерть Анюточки, а у него на примете имеется человек стихотворящий – по прозвищу Василий Рубан! Панин сказал:

– Такого не знаю! Пуцай пишет сам великий Сумароков...

Пьяный Сумароков ломился в покои императрицы.

– Гоните в шею! – велела Екатерина. – У него две дочери в оспе лежат, а он ко мне в кабинеты лезет... О боже! Ну когда же приедет из Англии Фома Димсдаль?

...

Слухи о приезде Фомы Димсдаля с сыном Нафанаилом взволновали столичное общество. Врачи шумели, что прививки – это наглое шарлатанство, а духовенство Петербурга осуждало борьбу с оспой, яко бесполезную, ибо наказание от всевышнего следует воспринимать со смирением. Димсдаль не сразу рискнул на вариоляцию, боясь осложнений из-за возраста императрицы, он проводил долгие опыты. По его подсчетам, Россия ежегодно теряла от оспы около двух миллионов человек – целую голландскую армию. Екатерина в эту цифру не поверила:

– У нас-то, дай бог, всего семнадцать миллионов!

– Не верите? – усмехнулся Димсдаль. – Но если у вас от оспы погибает каждый четвертый младенец, вот и считайте

сами...

Сначала он дал императрице ртутный порошок.

– Примите и будьте готовы, – велел он.

В эту ночь над Петербургом и его окрестностями разыгралась пурга с обжигающим морозом. Раненько утром Фома Димсдаль с сыном Нафанаилом заехали в домик на Коломне, где проживала семья мастерового Маркова, в которой болел оспой мальчик – именно от него решили брать свежую «материю» для прививки. Но мать отказалась дать ребенка, суеверно полагая, что в этом случае смерть неизбежна для ее чада. Напрасно врач говорил, что Екатерина обещает Саше Маркову дворянскую фамилию Оспин, а в гербе его потомства навеки закрепится рука человека со следами вариоляции.

– Не надо нам дворянства! – кричала несчастная женщина. – Не хочу никаких гербов, оставьте нас...

Все сомнения разрешил отец семейства – Марков; он взял больного сына, замотал его в тулуп и протянул Нафанаилу Димсдалю.

– Держи! – сказал. – Вы ведь приплыли из далекой страны, и не за тем же, чтобы сыночка нашего угробить... А даже и умрет сыночек, так, может, другим большая польза станется...

Нитку, зараженную оспой, протянули под кожей на руке Екатерины.

– Поздравляю, ваше величество, – сказал Димсдаль.

– Я счастлива, что буду первой в стране.

– Увы, – разочаровал ее врач. – Вчера поздно вечером ко мне явился Григорий Орлов, велел привить ему оспу как можно скорее, так как его ждали друзья, чтобы ехать на медвежью охоту... Но ваша Академия наук предварила меня. крестьянки Воронежской губернии издревле прививают детям своим оспу, а вот от кого они переняли сей способ – об этом Академия ваша не дозналась!

Орлов вернулся с охоты как ни в чем не бывало: могучий организм его никак не реагировал на прививку. Павел тоже подвергся вариоляции – от матери, а потом Екатерина уговорила сына и фаворита дать «материю» для других людей. Постепенно вокруг престола образовался некий барьер, уже недоступный оспенным атакам. Поздравляя с прививкой Платона, женщина велела митрополиту:

– Духовенству столичному в наказание за то, что много умничали, приказываю привить оспу – как бы ни сопротивлялись!

Вскоре в стране были открыты «оспенные дома», а врачи разъехались по провинциям спасать от оспы детей, насколько это было возможно в условиях тогдашней России. Екатерина опубликовала торжественный манифест, призывая людей не страшиться прививок, влияние которых испытала на себе.

Петербург был празднично иллюминирован, всюду справлялись пышные застолья, сенаторы говорили всякие речи,

а Васенька Рубан, сам жестоко пострадавший от оспы, воспел мужество императрицы в высокопарной и бездарной оде. Заезжий итальянский танцор Анджиолини поставил балет «Побежденное предрассуждение»: на сцене плясала радостная Минерва (императрица), ей подплясывала Рутения (олицетворение России), и Екатерина балет сразу запретила.

– Аллегория, – сказала она Бецкому, – должна быть разумной. Мне противно смотреть, когда здоровущая кобыла изображает «гнилую горячку», перед которой выписывает сложнейший пируэт «чума», а проклятая «оспа» с крылышками за плечами приманивает к себе «трахому» в шлеме античного воина.

У Бецкого были свои взгляды на искусство:

– Но музыка, ваше величество, музыка-то какова!

– Никакой Гайдн не избавит сюжет от глупости...

Но еще до этих событий Украина вздрогнула от топота гайдамацкой конницы, и Екатерина, перепуганная, приказала:

– Репнина срочно из Варшавы отозвать!

3. «Пугу, пугу, пугу!»

– Уже поздно, – отвечал ей граф Панин. – Конфедерации Бара, разогнанные компутовым войском, бьют челом Мустафе и Марии-Терезии, войну на Россию накликивая. Черная туча на юге застилает горизонты наши, а зверства, конфедератами учиняемые, не передать словами. В отмщение же им выступает сила новая, для нас тоже опасная – гайдамаки вольные! А для дел польских нужен человек скорейший, яко метеор, чтобы в един миг являлся там, где надобна рука решительная...

Екатерина сказала, поправляя прическу, что Россия талантами не обижена, и велела звать Александра Васильевича Суворова:

– А кто скорее его марши производит? Нету таких...

Теперь следовало размерить каждый шаг Алексея Михайловича Обрескова, чтобы посол мог правильно ориентировать себя в новых условиях войны с конфедератами и восстания гайдамацкого. Инструкции для посла были перебелены, разложены по пакетам, поверх них императрица оттиснула личную печать с изображением улья с пчелами и девизом: полезное! Честь ехать без отдыха от берегов Невы до Босфора выпала сержанту Семеновской лейб-гвардии хорошему парню Алешке Трегубову.

– Вези, молодец! Гладкой дороги тебе...

Трегубов добрался уже до Ясс, и здесь турки на кордоне пустили в него стрелу. Конь рухнул, пронзенный насмерть, янычары сорвали с курьера сумку с дипломатической почтой. Но в Петербурге ничего об этом не знали...

Екатерина, подумав, велела заготовить два указа:

1) А.В. СУВОРОВУ – присвоить чин бригадира.

2) Г.А. ПОТЕМКИНУ – состоять при дворе камергером.

Пути-дороги этих людей еще не перекрещивались.

Молодые ребята. Кто их знает? Да никто не знает...

...

– Пугу-пугу... пугу! – понукал лошадей гайдамак.

Вольная степная птица, он весь в призыве «Гайда!», и редко кто его гонит, чаще он за врагом гонится. Для власти – разбойник, которого петля ждет, для народа – защитник, которому в любой хате уготовано укрытие, чарка горилки и добрый шматок сала. Когда возникла Барская конфедерация, а на шляхах заскрипели виселицы для крестьян украинских, тогда Максим Железняк намочил в дегте рубаху, натянул ее на голое тело, сверху кобеняк накинул и призвал «товариство» постоять за волю общенародную.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.